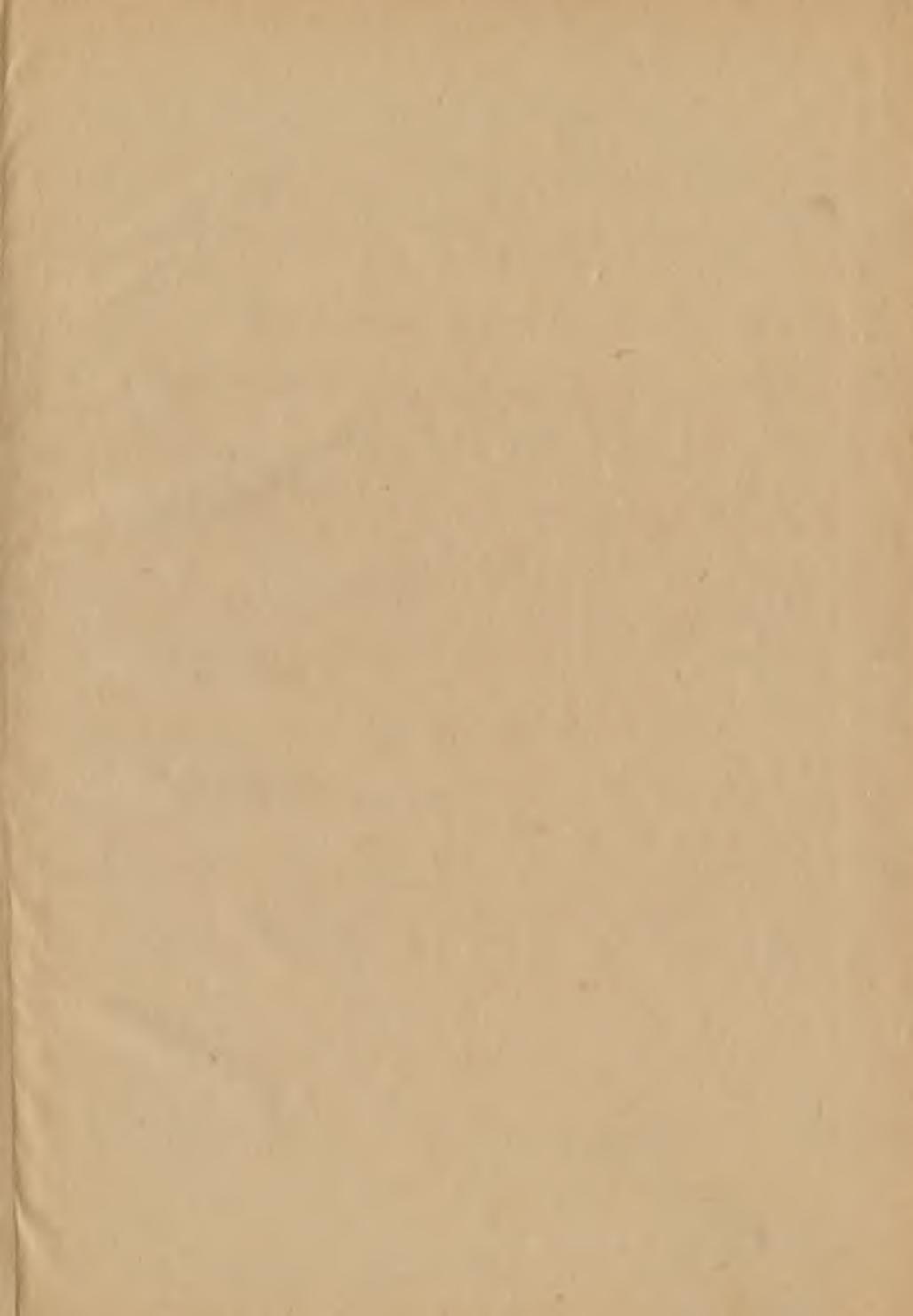




ЗОЛОТОЯ  
РОССЫПЬ









# Золотая россыпь



ТЮМЕНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1963

Человек красив и славен своим трудом, своими делами, тем что он создал, что совершил. В труде раскрываются способности и таланты людей, гений человека, в труде — бессмертие человечества.

*Н. С. Хрущев.*

«Золотая россыпь» — это коллективный сборник тюменских писателей, поэтов и журналистов, это — очерки о людях труда, составляющих подлинную золотую россыпь из беспокойного племени строителей коммунизма.

Авторы посвящают свой труд июньскому Пленуму ЦК КПСС.

**ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ:**  
**К. ЛАГУНОВ, П. КОДОЧИГОВ, А. НЕЖДАНОВ,**  
**Ф. ЧУРСИН, И. ИСТОМИН, П. ГОРБУНОВ.**

К. ЛАГУНОВ

## О ЗЕМЛЕ И ЛЮДЯХ

(заметки писателя)

Осенью 1953 года партия провела глубокую борозду по истощенной, местами запущенной земле. В то время я находился далеко от Сибири. Но, читая постановление сентябрьского Пленума ЦК, я думал о колхозах и совхозах Тюменщины. И в памяти моей встали небольшие заснеженные деревеньки. Серые, однообразные домики с провисшими крышами, заплатанными окнами, покосившимися заборами. Многие дома заколочены: их хозяева оторвались от родной земли, покинули насиженные гнезда и ушли в поисках счастья. Они искали его по городам и лесоразработкам, на стройках и заводах. Люди искали свое счастье вдали от родных мест, а счастье лежало у них под ногами.

Земля! Когда-то здесь она была плодородной и щедрой, стоицей вознаграждала за тяжелый крестьянский труд. Стопудовый урожай был совсем не в диковинку.

Война подорвала экономику сибирских колхозов. Они обессили, ослабели. Не хватало ни техники, ни рук для того, чтобы хорошо обрабатывать землю, чтобы отвоевывать ее от леса и бурьяна, от пустошей и болот.

Земля, как тяжело больной, хирела и скудела на глазах. Неудержимо катилось под уклон артельное хозяйство. Измученные, издерганные войной и нуждой люди надрывали силы и за свой тяжелый труд получали жалкие граммы.

Некоторые, не выдержав, бежали. Другие же, а их было большинство, терпеливо ждали перемен к лучшему.

И они наступили.

Легко и свободно вздохнула родная Земля. Прибивая доступ к живительной влаге и целебному воздуху, вырывая крепко заевшие корни сорняков, Партия провела глубокую борозду осенью пятьдесят третьего года.

С тех пор меня все время неудержимо влекло в родную Сибирь, где прошли лучшие годы моей юности. Я помнил Сибирь изнуренную войной, запущенную и истощенную. Мне страстно хотелось увидеть Сибирь обновленную, полную свежих молодых сил, широко шагающую по пути всеобщего изобилия и счастья.

Однако обстоятельства сложились так, что я смог осуществить свое желание только через восемь лет.

## 1. Новь

И вот я в вагоне поезда. Через несколько минут он отойдет от Тюмени и помчит меня к станции Голышманово, которую отыщешь далеко не на всякой карте.

Маршрут этой поездки возник не случайно. Голышманово — поселок моей молодости. В нем я окончил десятилетку, стал коммунистом и комсомольским работником. Отсюда началась моя дорога в большую жизнь.

Люди говорят, что время необратимо, что прошлое не возвращается. Умом я был согласен с этой аксиомой, а сердцем — нет. Сердце подсказывало мне, что через несколько часов, через двести с лишним километров пути я увижу свою Юность. Я сразу же поверил своему сердцу: оно меня никогда не обманывало. А поверив, ощутил прилив волнения. С каждым часом пути оно росло, вытесняя все иные чувства, мешая на чем-либо сосредоточиться.

Задолго до остановки я уже вышел в тамбур и приник к дверному стеклу. Вот сейчас, сию минуту, покажутся низенькие домики поселка, кучи угля, пакгауз, водонапорная башня и вокзал.

И вдруг я увидел целую шеренгу белых двухэтажных домов. Это была приятная неожиданность. Прежде в Голышманово не было ни одного двухэтажного здания. Я не сдержался, помахал рукой белостенным красавцам и довольно улыбнулся...

Миновав привокзальную площадь, я остановился. Передо мной выстроилась колонна автобусов. Здесь был автовокзал. Отсюда в разные концы района уходили комфортабельные машины. Я смотрел на пофыркивающие автомобили, вокруг которых суетились люди, и мне вдруг вспомнились осенние сибирские дороги недалекого прошлого. Лошади выше бабок увязают

в холодной, липкой грязи, с трудом таща ходки и телеги. Грузовики не отваживаются появляться на раскисших большаках. А люди идут. Дороги полны пешеходов. Они вязнут в грязи, мокнут под дождем, стынут на ледяном ветру, но понуро бредут и бредут иногда по нескольку дней.

Мне не раз еще приходилось останавливаться в изумлении, сталкиваясь с молодыми, но уже крепкими побегамі нового, входящего в быт голышмановцев.

Широкоэкранный кинотеатр, детская музыкальная школа, односменная одиннадцатилетка, Дом пионеров. Но меня больше всего поразило не это, а те удивительно глубокие и резкие перемены, которые произошли в жизни сибирского села.

Было такое ощущение: будто над родной землей пронесся ураган огромной силы. Он повалил сухостой, вырвал с корнем гнилые деревья, смел с земли мусор, щедрым грозовым ливнем смыл толстый слой пыли. И очищенная, омытая, обновленная земля расцвела радужным многоцветьем.

Люди тоже обновились, похорошели, повеселели. Теперь земледelec считает, что нет такой задачи, которая была бы ему не по плечу. Втрое, впятеро, вдсятеро сильнее стал крестьянин.

Эту силу дали ему машины. Тысячи тысяч самых разнообразных, могучих, умных и ловких машин получило сельское хозяйство.

Бывало в дни сева поля походили на потревоженный муравейник. Всюду люди. Напряженные лица, хриплые от натуги голоса. Скрип телег, ржанье лошадей, крики маленьких погонщиков.

А ныне поля пусты. На них не видно людей. Однако каждый день в районе обрабатываются и засеваются новые тысячи гектаров.

Нет, не таинственные волшебники-невидимки делают это.

Выйди утром на полевую дорогу, вслушайся в голубоватый, прозрачный и ломкий холодок и ты услышишь размеренный гул моторов. В одном Голышмановском районе тысячи сельскохозяйственных машин. Они и корчуют, и пашут, и копают, и грузят, и молотят, и везут.

А подвесные дороги, автопоилки, электродойка, кормокухни — все это тоже машины, верные и преданные друзья и помощники крестьянина.

Овладев техникой, научившись управлять ею, сельский труженик обрел крылья для большого полета.

Свинарю Голышмановского совхоза Виктору Малышкину всего 25 лет. Да и свиномарем-то он работает не так уж давно.

А обязательство взял высокое — откормить 2500 свиней. Причем, он не только откармливает, но и дорастивает. Несколько лет назад подобное обязательство вызвало бы скептические улыбки и неместные замечания. Теперь же ни сам Малышкин, ни кто другой не сомневаются в успехе.

— Вот у меня дружище, — весело говорит Виктор, похлопывая горячий, вздрагивающий бок маленького, юркого, но сильного «Беларуса». — Он не подведет.

Оседляет Виктор «Беларуса» — развезет корм по механическим кормушкам (тоже машина). Прицепит к трактору тележку — съездит за бардой. Прикрепит скребок — солому из загона вычистит.

А разве не благодаря машине, одна доярка стала доить не 10 (так было совсем недавно), а 150 коров?

Машина — это сила. Но сила без ума может принести вред. Вот почему по селу рядом с техникой шагает наука. Не по детским поверьям и приметам, не на глазок и на авось, а на основании глубоконаучных данных ведется теперь сельское хозяйство.

Агрономия и зоотехния из достояния узкого круга специалистов стали практическим руководством рядовых тружеников. Теперь почти каждый механизатор и животновод владеет основами сельскохозяйственной науки. Это не пришло самотеком. Сколько жизненных сил и труда отдали этому делу наши агрономы, механики, зоотехники, ветврачи.

От сердца во все части человеческого тела бегут кровеносные сосуды. По ним ни на мгновение не прекращается поток крови. Она несет живым клеткам питательные вещества и кислород, вынося вон отходы и отработки организма. Стоит закупориться сосуду, и замрет жизнь, начнется медленное разложение тканей, за которым последует смерть.

Вот такими сосудами, соединяющими науку с производством являются специалисты сельского хозяйства.

Всякая теория без практики — мертва. Но и голая практика, оторванная от теории, от науки обречена на жалкое прозябание и оскудение. Нужна повседневная связь между этими взаимозависящими категориями. И эта связь осуществляется через специалистов.

В Голышмановском районе в любом отделении совхоза можно встретить агронома или зоотехника, механика или ветфельдшера. Это люди крепкого сплава, беззаветно влюбленные в свое нелегкое дело. В этом любимом деле они видят главный смысл своей жизни.

Лет двадцать назад здесь появилась невысокая большеглазая девушка. Ветер войны долго кружил ее по стране пока, наконец, не занес в Голышманово. Все имущество девушки умещалось в маленьком узелке, который она крепко прижимала к груди, испуганно кося по сторонам большими глазами.

Если бы мне не подсказали товарищи, я никогда бы не подумал, что та испуганная девушка с узелком в руках и главный агроном Хмелевского совхоза Раиса Федоровна Гаврушева — одно и то же лицо.

— Не узнали? — улыбается она и ловким движением маленьких рук поправляет высокую прическу. На какое-то мгновение лицо у нее становится задумчивым, а широко открытые глаза наливаются печалью. Но она пересиливает себя, энергично встряхивает головой и прежним веселым голосом продолжает. — Не смущайтесь. Я и сама себя, наверное, не узнала бы.

«Газик» несется по малонаезженной дороге. Машину подбрасывает на выбоинах и мы с агрономшей стукаемся головами о брезентовый тент.

Сегодня, как и всегда, в семь утра Раиса Федоровна уже была в своем кабинете. Ее сразу окружили люди, затрещал телефон. Она подписывала какие-то бумаги, кого-то отчитывала по телефону за плохую заделку семян, и тут же ухитрилась рассказывать сидящему перед ней полеводу о посеве бобов. А в девять мы поехали по полям. Вернее было бы сказать не поехали, а полетели. Раиса Федоровна не признает окружающих дорог, объездов и мостиков. Она так хорошо знает местность, что к цели добирается всегда «напрямки».

— Послушай-ка, — говорит она шоферу. — Чего это нам по дороге в окружную колесить? Давай через лес. Вон мимо той обгорелой березы, потом влево через ложок и выедем на поле, где нынче должны сеять горох.

И мы едем прямым маршрутом. Застреваем в болотце. Выталкиваем машину и мчимся дальше.

Часа в три дня я вскользь замечаю, что неплохо было бы пообедать. Она посмотрела на часы и просительно проговорила:

— Вы уж потерпите. Весна. Сами понимаете.

И мы продолжали путь.

Меня радовало то почтительное внимание, с которым люди прислушивались к замечаниям Раисы Федоровны. А как она нетерпима к недостаткам. И не один плечистый парень, краснея, смущенно топтался перед маленькой женщиной. По ее

команде перегонялись машины, заглублялись лемеха, менялась норма высева.

Поздним вечером мы возвращались домой. Раиса Федоровна молчала, задумчиво глядя перед собой. На ее коленях неподвижно лежали загорелые, перепачканные землей и мазутом руки. Я смотрел на них со смешанным чувством восхищения и грусти. Сегодня на моих глазах эти руки разгребали пашню, отыскивая запрятавшиеся семена овсяго, подкручивали регулятор глубины на плуге, перебирали золотые зерна пшеницы. Эти маленькие, гибкие руки не боялись ни земли, ни навоза, не чурались никакой работы. Но это были руки женщины. И мне подумалось, что их бы очень украсил маникюр. Да и не только маникюр. Наверное, она соскучилась по туфелькам с каблучками-гвоздиками, красивому, нарядному платью, модной прическе и многому другому.

Раиса Федоровна, видимо, угадала мои мысли. Повернулась ко мне, озабоченно спросила:

— Я, наверно, старо выгляжу? Да? — Смущенно улыбнулась. — Никто не дает мне моих лет. — Сделала небольшую паузу, отмахнулась рукой от непрошенных мыслей. — Ничего. Скоро будет двадцать лет, как я работаю агрономом. Дотяну и уйду на другую работу. Буду сидеть в канцелярии.

Я слушаю ее, а сам думаю. «Никуда ты не уйдешь от земли. Не бросишь ее. Когда центр совхоза переместился из Хмелевки в Малышенку, твой муж не захотел менять место жительства и ты переехала одна. Шестнадцать лет прожили, а все-таки не послушалась. И вот уже сколько месяцев одиноко живешь в пустом доме. Плюнуть бы тебе на все да убежать в родное, теплое гнездо. Так нет, не плюется. Потому, что ты не мыслишь себе жизни вдали от любимого дела, вдали от земли, вдали от главной артерии жизни».

Я заглянул в ее широко раскрытые, полные грусти глаза, и увидел, что все это она говорит просто так, от усталости, от нестроенности личной жизни, а на самом деле никогда добровольно не покинет свой нелегкий пост. И мне захотелось поцеловать перепачканную землей и мазутом маленькую руку...

Наука и техника — вот два крыла, опираясь на которые сельское хозяйство набирает высоту.

К нашему всеобщему счастью окрыленное сельское хозяйство имеет великолепный, мощный и безотказный двигатель. Им является партийное руководство.

За последние годы этот двигатель был не раз разобран до последнего винтика, очищен от грязи, смазан и собран заново.

Причем при каждой такой профилактике он непрерывно модернизировался, совершенствовался, в нем заменялись не только отдельные детали, но и целые узлы.

Я помню недавние времена, когда некоторые ответственные работники руководили сельским хозяйством по принципу «вынь да положь». Такого руководителя не интересовало ничто, кроме процента, вот он и «выжимал» эти проценты, не считаясь ни с особенностями, ни с возможностями хозяйства. А иногда нужный процент просто-напросто «выдували» или списывали его со «средней потолочины». Корень этого зла состоял в незнании сельского хозяйства, непонимании законов и перспектив его развития.

Никита Сергеевич Хрущев не только рассказал, убедил, но и показал, как надо руководить сельским хозяйством.

Чтобы руководить — надо глубоко знать.

Чтобы руководить — надо уметь считать.

Чтобы руководить — надо предвидеть, смело ломать старое, отжившее, пробивая дорогу новому, передовому.

В Голышманово произошла серьезная ломка моих представлений о партийном руководстве. Сложившийся в моем сознании образ сельского партийного работника оказался неточным. Жизнь внесла в этот образ много новых штрихов, черточек и деталей.

Нынешние партийные работники либо специалисты сельского хозяйства по образованию, либо по опыту работы. Сельское хозяйство они знают глубоко и не в общих чертах, а в деталях. Потому-то вместо громких и пустых фраз, вместо «накачек» они несут людям деловые разумные советы и сами же помогают претворять эти советы в жизнь.

Партийный работник стал первым другом специалиста, первым помощником и советчиком крестьянина. Потому как к солнцу, тянутся к нему молодые, зеленые побеги всего нового, передового, рожденному наукой и практикой.

Но он по-прежнему неутомим, в непрерывном движении, поисках, раздумьях.

Он — вечный двигатель, который никогда не работает вхолостую, никогда не останавливается.

Он — сердце большого и сложного организма. И как всякое сердце, он работает день и ночь.

Все дальше и выше от рубежа пятьдесят третьего года уходит наше сельское хозяйство. У него надежные, широкие крылья. У него чудесный, безотказный двигатель. Оно достигнет высот, намеченных новой Программой КПСС. Но оно будет

двигаться к цели еще стремительнее, если мы устраним помехи, сдерживающие его полет.

## 2. Мое и наше

Скотник Малышенской фермы был невысок, подвижен и жилист. Худощавое, загорелое лицо заросло колючей щетиной. В голосе явственно проступали недовольные нотки. Он сразу же начал критиковать «совхозные порядочки».

Я слушал его и мне невольно вспомнился Егор Дымшаков из романа Е. Мальцева «Войди в каждый дом». «Вот что значит образ, взятый из жизни» — подумал я.

А мой собеседник все больше входил во вкус.

— Сейчас удои совсем некудышные. Из-за кормов. А сколь картошки да свеклы в прошлом году под снег пошло. Верно ведь? — Он оглядел молчавших доярок. Под его требовательным взглядом они как под косою клонили головы.

— Во! — торжествующе выкрикнул он. — Даже выкопанная, сложенная в бурты свекла и та попала под снег.

— А что вы сделали для того, чтобы эту свеклу вовремя перевезти в хранилища?

— Я? — Загорелое щетинистое лицо скотника вытягивается от изумления, глаза округляются, вот-вот выпрыгнут из орбит.

— Чему вы удивляетесь? — недоумеваю я. — Смотрите, сколько людей на ферме. И машины есть. Если б вы дружно взялись, могли бы и свеклу и картофель спасти от гибели. Был бы скот с кормами и высокие удои. В конце-концов ведь и скот, и корма, и весь совхоз — это же все ваше. Ваше или нет?

Он долго молчал, ожесточенно тер ладонью давно небритый подбородок. Прицелился в меня колючим, недобрым взглядом и выстрелил:

— Наше-то оно наше, да не мое.

— А чье же?

— В совхозе много разных руководителей. Им за то деньги платят. Вот пусть у них и болит голова об этом.

«Вот тебе и двойник Егора Дымшакова, — поиронизировал я над собой. — Это Дымшаков наизнанку. И таких людей, к сожалению, еще не мало у нас. Они все подмечают, все знают, всех критикуют и осуждают. Всех и вся. Для них не существует авторитетов, они не признают объективных причин. Но сами и пальцем о палец не стукнут, чтобы помочь убрать с дороги камень, который мешает нашему движению вперед или зама-

зять трещину в стене нашего дома, стереть пятно с его фасада.

Особенно много таких Дымшаковых наизнанку развелось в последнее время. И в этом отчасти повинны мы, пишущие люди. Встретив такого говоруна иной корреспондент от радости готов тройное сальто сделать. Еще бы. Столько отрицательных фактов, и все точные, и все злободневные. Выхватит он блокнот, развинтит ручку и «пошла писать губерния». Да еще в своем писании этого говоруна-критикана всякими лестными словами назовет. Он-де и смелый, и принципиальный, и даже самоотверженный. А по мне он просто болтун. И не к чему из этих болтунов делать героев.

Вот если он критику недостатков сочетает с беспощадной борьбой с ними. Если в этой борьбе его не пугают ни синяки, ни шишки, ни возможность запачкать руки. Если он пренебрегает личным благополучием и удобством ради правды, значит он настоящий человек, значит он действительно душой болеет за общее наше дело. Такого человека надо поддержать, такому мы обязаны помочь. Его не грех сделать персонажем рассказа, повести или пьесы...».

Тут мои мысли были прерваны каким-то шумом за окном.

Дверь комнатки распахнулась. В щель просунулась мальчишеская голова.

— Эй! — крикнул простуженный ребячий голос. — На силосе опять шесть коров пасутся.

— Ну и черт с ними. — Скотник ожесточенно затянулся цыгаркой. — Я управляющему говорил, чтобы акт составил, а ему все недосуг.

Оказывается личный скот рабочих совхоза целыми днями «пасется» на совхозном силосе. Они не только поедают его, но и загаживают. Можно было загнать этот скот в загон и вернуть хозяевам только после соответствующего внушения, можно было на владельцев скота наложить штраф за потраву. Можно было найти еще сто выходов из этого положения, если бы... Если бы среди скота «травящего» совхозный силос не было коров, принадлежащих работникам фермы, если бы наше считалось моим...

Молодой человек с флегматичным выражением лица развалился на стуле, положив ногу на ногу. В уголках его полных губ дымится сигарета. Глаза полуприкрыты. На белый лоб свесились густые пряди волос.

Это главный зоотехник Хмелевского совхоза Юрий Алексеевич Катозов, а перед ним, навалиясь грудью на стол, пристроился на кончике стула зоотехник Евсинской фермы.

— Вы опять инкубаторских цыплят занарядили в Евсино, — раздраженно говорит зоотехник. — А куда их девать? Сами же знаете — некуда. У нас и те цыплята друг на дружке сидят. Оттого и дохнут, как мухи. И эти подохнут...

Юрий Алексеевич вынул сигарету изо рта и вместе с клубом дыма выпустил на волю два слова:

— Подохнут — спишем.

Лицо евсинского зоотехника вытянулось. Его, видимо, ошеломили слова «шефа». А тот, покровительственно похлопал евсинца по плечу и тем же ледяным, пренебрежительным тоном проговорил:

— О чем беспокоишься? Цыплята для того и существуют, чтобы дохнуть. Не у тебя подохнут, так у другого. Какая разница? Все равно списывать. Я вот в новом промфинплане предусматриваю тридцать процентов законного отхода цыплят. Так что не расстраивайся, береги нервную систему. Пускай дохнут.

Он водрузил сигарету на прежнее место. Ленивым жестом взял ручку, обмакнул в чернильницу и хотел было расписаться на синем листе, испещренном цифрами. Но вовремя заметил, что к кончику пера прилипла какая-то крошка. Юрий Алексеевич брезгливо поморщился и, норовя скинуть крошку, легонько пристукнул пальцем по кончику ручки. Злополучная крошка сорвалась и пристала к рукаву главного зоотехника.

Юрий Алексеевич швырнул ручку, вскочил. Щелчком сбил крошку с рукава. На нем осталось крохотное чернильное пятнышко.

— А, черт, — холеное, молодое лицо болезненно сморщилось. Юрий Алексеевич взволнованно прошелся по комнате, остановился против окна, отыскал взглядом пятнышко на рукаве и долго исследовал его, бормоча под нос ругательства.

Посетитель молча поднялся со стула и вышел. Юрий Алексеевич не обратил на это никакого внимания: он мучительно раздумывал, как ликвидировать это злосчастное пятно, избежав неприятного разговора с супругой...

— Мое и наше — это сложная и большая проблема, — выслушав меня, сказал директор совхоза Сергей Михайлович Никулин. — Ее с ходу не решишь. Одним ударом не разрубишь.

Никулин — энергичный, смелый, пожалуй даже самоуверенный человек. Но его самоуверенность происходит не от зазнайства и высокомерия. Она произросла на иной почве, в структуру которой входят такие качества, как великолепное знание производства, организаторский талант, вера в себя и людей.

Эта самоуверенность — не порок. Она необходима руководителю таким большим хозяйством, каким является Хмелевский совхоз.

Никулин — в прошлом горожанин. До 1953 года работал инженером «Уралзолота». После сентябрьского Пленума ЦК КПСС изъявил желание поехать в село. И с тех пор живет в Малышенке. Он был главным инженером, директором МТС, председателем колхоза, а теперь возглавляет один из крупнейших в области совхозов, который объединил земли 18 сельхозартелей.

Скоро исполнится десять лет с тех пор, как Сергей Михайлович стал сельским жителем, но он не утратил городского лоска. Его бронзовое от загара с чуть заметными скулами лицо всегда чисто выбрито. Коротко подстриженные каштановые волосы аккуратно причесаны. Он всегда опрятно одет и даже надушен. Белизне его воротничка может позавидовать любой горожанин. Никулин прекрасно знает машины, сам водит автомобиль, заочно учится в сельскохозяйственном институте.

Сергей Михайлович — живая история совхоза. Раз ночью мне довелось с ним и его женой идти из Малышенки в центральную усадьбу совхоза.

Ночь была темная и ветреная. Мы вышли за околицу села и перед нами засверкала золотая россыпь огней центральной усадьбы. На фоне черного неба огни казались необычно яркими. Их трепетный свет звал и манил к себе.

Глухо вздыхал ветер в поле. Заунывно гудели провода. Под ногами хрустела прошлогодняя трава.

— А помнишь, — обратился Сергей Михайлович к жене, — как мы с тобой одни вон в том доме жили? Видишь три огонька? Влево от конторы. Тогда только этот дом и стоял на бугре. Открытый всем ветрам и непогодам.

— Зато теперь наш дом в самом центре поселка. По количеству жителей он уже больше Малышенки.

— А через два года... — подхватил Сергей Михайлович и, волнуясь, стал рассказывать, каким будет совхозный поселок через два года, через пять.

Я знаю — все так и будет, как рассказывает Никулин. Вырастут двухэтажные дома с благоустроенными квартирами, в которых будет и паровое отопление, и водопровод и, может быть, даже газ. Асфальт навеки примнет пыль, выровняет дороги, избавит жителей от непролазной осенней грязи. Над крышами домов взметнутся в небо раскидистые телеантенны. Будут здесь и Дворец культуры, и книжный магазин, и настоящая столовая,

где меню будет обновляться каждый день, а не раз в неделю как это делается сейчас.

Все так и станет. В самом близком будущем.

А как же быть с проблемой мое и наше? Можно ли ликвидировать это острое и живучее противоречие?

Я объездил много деревень, побывал на полях и фермах, встречался с разными людьми. Были среди них такие, от разговора с которыми светлело на душе. Они как чистая родниковая струя вливали в меня и бодрость, и силу. В их неброской, шершавой речи нет-нет да вдруг и заблещают золотники народной мудрости, жемчужины народного остроумия.

Этих людей, разных по возрасту и внешнему облику, по манере говорить и держаться единит и роднит глубинная, безграничная любовь к своему нелегкому и далеко не всегда красивому, но нужному людям труду.

За колючими шуточками полевода Ивана Васильевича Киреева, за его нарочитой простоватостью проглядывает большая тревога крестьянина за землю. Мне довелось быть свидетелем такой сцены...

Киреев стоял на краю поля и, щурясь от ветра, следил взглядом за трактором, который проворно бежал по черным волнам пахоты, таща за собой бороны. Проводив глазами машину, полевод ступил на пашню, сделал несколько шагов и остановился. Присел, не спеша вырыл рукой ямку, вынул из земли пшеничное зерно, помял его в пальцах и бережно, будто крохотного малого птенца, положил на широкую, изрытую морщинами ладонь. Поласкал живое, набухающее земными соками зерно взглядом, покачал его на ладони и снова опустил в ямку, засыпал. Потом зачерпнул полную горсть земли и ну перетирать ее в пудовом кулаке. Черные струйки текли сквозь заскорузлые пальцы. По иссеченному морщинами, опаленному ветрами лицу полевода разлилась тихая радостная улыбка. Она смягчила суровые черты его лица, а глаза старого хлебороба залучились вдруг горячей радостью.

Я не выдержал и подошел к нему. Присел рядом. Он глянул на меня отсутствующим взглядом и выдохнул:

— Земля.

Земля. Кормилица наша.

О тебе столетия мечтал русский крепостной мужик.

За тебя он дрался в семнадцатом году. За тебя подставлял свою грудь под дула кулацких обрезаев. За тебя, обвязавшись гранатами, падал под фашистский танк.

Земля моя! Ты обильно полита кровью и потом моего на-

рода. Ты даешь нам и хлеб, и кров, и одежду. За то и зовут тебя люди своею матерью.

Как же можно не любить тебя? Не беречь, не холить?..

Я закрываю глаза, и перед моим мысленным взором с кинематографической быстротой и яркостью плывут картины...

Бежит, спешит по полю могучая машина. Только пыль следом вихрится. Надо бы машине тянуть 24 бороны, а она тащит ровно половину. Тракторист Плеханов опасно поглядывает в окна кабины: не едет ли какое начальство. Не видно. И он, облегченно вздохнув, «жмет» на последней скорости...

Директор повелительно вскидывает руку, и трактор, словно запнувшись за что-то, останавливается. Никулин обходит сеялку, недовольно говорит трактористу:

— Ты что, Удалов, первый раз на севе? Смотри диски стоят впритирку друг к другу. Какие же получатся междурядья?

Удалов смущенно крикает и молчит: ему нечего сказать.

— Семена протравлены? — обращается директор к сеяльщику, поднимая крышку сеялки.

— Н-нет.

— Почему же вы сеете непотравленными семенами?

Тракторист понуро молчит, а молодой сеяльщик, лихо сбивает на макушку форменную фуражку и с открытым вызовом зло бросает:

— Управляющий велел, ну и сеем...

Густеет и вроде бы тяжелеет весенняя ночь. Скоро все сливается воедино: и пашня, и небо, и близкая роща. Сплошная черная глыбища навалилась на землю, придавила ее. И в этой глыбище будто жук-короед пробирается трактор с ярко горящими фарами. Когда совсем стемнело Андрей Эйхман остановил машину, крикнул напарнику:

— Толька! Поднимай лемеха. Сейчас жиманем на третьей. Через минуту облегченно загудел мотор и машина рванулась в черноту.

Вместо 25 сантиметров они пахали всего на десять...

Плывут перед глазами свежевспаханые поля с огрехами. Поля с необработанными краями, с любой стороны четырех-пять метров пустоши. Торчат из борозд коряги и палки, желтеют кучи опавшей соломы. Уродуя профиль полей, тянутся к небу две-три березки. Их бы выкорчевать, выровнять поле. Свести бы в единый массив десятки маленьких полюшек, на которых и трактору-то негде развернуться.

Отчего это? Почему многие механизаторы интересуются

только нормой, нимало не заботясь, что будет посеяно на возделанной ими земле и что на ней вырастет?

Ларчик открывается просто. Механизаторы получают зарплату вне всякой зависимости от результатов своего труда — от урожая. Соберут ли с поля стопудовый урожай или втрое меньше — все равно, оплата труда одинакова и в том, и в другом случае.

А почему бы не сделать так.

Зимой создать тракторно-полеводческие бригады, закрепить за ними технику, инвентарь и землю. В течение всего периода полевых работ выплачивать механизаторам гарантийный минимум, составляющий 60—70 процентов к фактически заработанному. Полный расчет — после сбора урожая и в зависимости от этого урожая. Выше урожайность — выше и оплата. Перевыполнил плановую урожайность — получи премию, да не только деньгами, но и зерном. Обязательно зерном.

Сибиряки испокон веков славятся умением стряпать пельмени, печь пирожки да шанежки.

Премиальная натуроплата зерном сразу двух зайцев убивает — и стимул хорош, и тесто в квашне, и пироги на столе.

По этому поводу я советовался с секретарями и работниками парткома, руководителями совхозов, специалистами сельского хозяйства, механизаторами. Все «за». Вот и попробуй теперь объясни, почему же до сих пор труд механизаторов оплачивается вне всякой зависимости от его результатов...

Детство и юность мои прошли в деревне, и мне с малолетства довелось участвовать в нелегком крестьянском труде. С особым удовольствием вспоминаю полную рабочего накала и веселой удали горячую пору сенокоса.

Косари просыпались затемно и по холодку, пока солнце росу не выпило, выкашивали не по одной сотке. Потом короткий завтрак, перекур и снова звенят косы до тех пор, пока солнышко в зенит не заберется. Тогда утомленные, просоленные потом косари обедали, час — другой отдыхали в холодке; а когда от деревьев на землю падала косая тень, снова брали в руки косовища. И до полной темноты на пахнувшей свежескошенной травой и цветами поляне не умолкало задорное — «вжиг»... «вжиг»... «вжиг»...

Если бы в жаркие дни сенокоса нашелся человек, который вдруг заявил, что начнет работу не ранее восьми, а в четыре уберется восвояси потому, что существует семичасовой рабочий день, на него посмотрели бы как на ненормального. И кто-нибудь из мужиков обязательно сказал бы:

— Да ты что, паря, ошалел?

Каждый, кто хоть немного связан с жизнью села, знает, каким бывает трудовое напряжение в страдные дни сева, сенокоса, уборки.

Весенний день — год кормит, — говорит народная мудрость. И вот в один из этих весенних дней мне привелось увидеть такое.

Солнце стояло еще высоко, когда мы с директором совхоза приехали на поле Малышенского отделения. Издали поле выглядело необычно. К нему, словно большие черные соски, прилипли конусообразные кучи перегноя.

— Здесь наш механизированный отряд работает. Сами погрузчик сделали, закрепили за ним лучшие автомашины. Смотрите. Красиво?

В самом деле, это было красивое зрелище. По дороге, ведущей к полю, тянулась непрерывная колонна машин с перегноем, а навстречу им проворно бежали порожние грузовики. А на поле окутанные облачками серой пыли рождались все новые и новые бугорки. Люди и машины работали слаженно и четко. Вдруг этот красивый ритм дружной коллективной работы нарушился. Поток груженных машин прекратился. Люди на поле сгрудились в кучу. Мы подъехали к ним. Подошли шоферы двух самосвалов, еще не уехавших с поля.

— В чем дело, товарищи? — обратился к ним директор.

Вместо ответа один из шоферов вскинул руку вверх. Из-под обшлага куртки показались часы. Шофер выразительно постукал по стеклышку часов.

— Отбой. Четыре часа. Рабочий день кончился.

К моему удивлению никто не возмутился, не спросил шофера: - «Ты что, парень, ошалел?» Только директор принялся уговаривать поработать еще пару часиков. Он говорил о весеннем севе, о мартовском Пленуме ЦК, об обязательствах совхоза — не помогло. Тогда он стал просить, обещая отгулы за сверхурочную работу — и это не возымело нужного действия.

— Позвольте, — не выдержал я, — но вам же оплачивают сдельно. Чем больше машин вывезете, тем — больше заработаете.

— А нам и без сверхурочных хватает заработку, — отрезал один из шоферов.

Знаю, что среди читателей найдутся Дымшаковы наизнанку, которые завопят: «Мы ведем речь о ликвидации различий между городом и деревней. А вы ратуете за то, чтобы трудовой

день рабочего совхоза был десять часов, а рабочего, скажем, судоремонтного завода, только семь».

Да, мы ратуем именно за это. Мы за то, чтобы в страдную пору рабочие совхоза трудились по 10, а может и по 12 часов в сутки. Ведь страдных дней в году — не так-то много. А в долгие зимние месяцы трудовой день механизаторов и полевых рабочих равен световому дню. В Голышмановском совхозе провели интересные расчеты. Оказалось, что среднегодовой рабочий день в совхозе далеко не дотягивает до семи часов.

И надо обусловить в колдоговорах продолжительный рабочий день в летнее время. И надо, чтобы профсоюзы открыто и честно выступили за это. Ибо это справедливо, ибо это в интересах нашего общего дела, в интересах народа.

...Вот я поставил точку, отодвинул рукопись, облегченно вздохнул. А через минуту мне захотелось прочесть написанное. Нет, все верно. Так почему же беспокойно на душе? Отчего это неприятное чувство неудовлетворенности. Словно что-то недоделано, недоговорено, словно где-то в твоём голосе прозвучала фальшивая нота. Отчего?

Ведь все те, на мой взгляд, верные предложения, которые я только что высказал, задевают лишь карман человека, а не его душу. Да, мы не отрицаем принцип материальной заинтересованности. Это могучий фактор воспитания человека в переходный период от социализма к коммунизму. Могучий, но не единственный. Коммунизм предполагает отношение человека к труду, как к первой жизненной потребности. Коммунизм ликвидирует противоречие между «мое и наше», «личное и общественное». Интересы общества станут главной движущей силой, лейтмотивом всех поступков человека.

А ведь этого не добьешься лишь теми мерами, о которых только что шла речь.

Духовное воспитание человека — наиболее сложный, трудный и длительный процесс. Его нельзя подменить никакими декретами, никакими реформами. Но мы должны, мы просто обязаны найти путь к сердцу человека, затронуть самые тонкие, самые нежные и сокровенные струны его души. Да так затронуть, чтобы они зазвучали в желаемом регистре.

### 3. Обида старого жузнца

Мы вдвоем сидим на завалинке его дома. За спиной у нас — нагретые солнцем бревна стены. Над головой — бледно-голубое небо. В нем плавает круглое солнце и рваные серые клочья облаков. Это ветер растрепал и расшвырял по небу облака.

Ветер сегодня сильный. Он дует непрерывно, ни на минуту не ослабевая. Прямо не ветер, а настоящий ветрище. Но нас он не трогает. Мы укрыты от него стеной. Сердитый вой ветра даже приятен. Под его аккомпанемент лучше думается и легче говорится.

Наш разговор похож на тонкую шелковую нить, которую тянут из кокона мотальные машины. Она то быстро и уверенно наматывается на шпулю, то вдруг останавливается, натягивается и рвется. Паузы бывают разные в зависимости от того, как скоро удастся мне найти и связать концы обрыва.

Сначала, как водится, мы говорили о погоде, о ранней весне и видах на урожай, о машинах и о всякой всячине.

Старый кузнец немногословен и медлителен. Лениво посасывает самокрутку, скребет пятерней сивый затылок, щурится.

Постепенно наш разговор входит в иное русло. Кузнец оживляется, выплевывает обсосанный окурок.

— Это ты аккуратно заклепку поставил. В самый раз. Мое и наше. — Он с силой опустил сухой кулак на острое колено. Покусал тонкую бескровную губу и принялся сворачивать новую папиросу. — Только одно учти. И большие реки из капель сбегаются. Капля по капле — глянь, и ручеек звенит. Два ручья сошлись, вот тебе какая-никакая, а речушка. Стакнулась она со своей подружкой, обнялась и зашумела рекой. А с чего все началось? С малого. С капли.

Меня озадачила стариковская притча. Я силился раскусить орешек, катал его меж зубов, так и эдак поворачивал. Кузнец видно понял, что крепкую загадал загадку. Довольная улыбка тронула уголки его тонких губ. Он закурил, с наслаждением затянулся, выпустил из широких волосатых ноздрей длинную струю дыма и снова заговорил.

— Есть у нас управляющий отделением. Недавно прислали. Землю не понимает и не жалеет. Опять же в рюмку часто заглядывает. Не любят его мужики. И поделом. Почему у нас не спросили, хотим ли мы такого управляющего? Пошто с народом не посоветовались? Может у нас свои люди имеются. Почище этого гостя. И дело знают, и землю почитают, и народ к ним с полным доверием. Ведь над нами управлять будет. А кто себе плохого хочет? Считали бы нас хозяевами — без спросу не сделали.

Старик так затянулся, что из самокрутки с треском полетели искры.

— Аркашку Малшина знаешь?

— Слышал.

Да и как было не слышать, если о нем два дня вся деревня говорила. Аркашка сеял ночью и вместо 8 сантиметров заделал семена всего на 2—3 сантиметра. Считай, что поверху покидал не один десяток центнеров сортовой пшеницы. Брак этот случайно обнаружили, и директор списал за счет Аркашки стоимость горючего и семян.

— Он мне навроде племяша. Горячий парень. В уборочную лонись так пластался. Первое место по совхозу. Захвалили его. Загордился и вот нашкодил. То что брак за его счет отнесли — правильно. Хоть и родственники мы, а правильно. Только опять же не до конца додумали.

— А что?

— По карману бьем, а совесть не трогаем. А ведь человеком-то не карман управляет. Надо было созвать весь народ. От стара до мала. И выставить этого варнака напоказ. Смотри, сукин сын, людям в глаза, казись. А рядышком с ним полевода с учетчиком поставить. Куда глядели? Пошто работу при-мали? Народ, брат, такая сила. Кого хоть в краску аль в слезу вгонят. Главное, совесть в человеке разбудить. А ее приказами да какими ни на есть начетами не поднимешь.

Старик сердился. Гнев преобразил его. Он вроде бы помолодел лет на пятнадцать. И голову вскинул, и глаза по-молодому засветились, и голос налился силой.

— Привыкли бумаги писать. Чуть что — приказ. Директор — приказ, агроном — приказ, управляющий — тоже. Еди-но-на-ча-лие. Не выговоришь без разбегу. Отгородились от людей этими приказами. Все сами решают. Единоначальники. Не советуются с нами, не отчитываются перед нами. Вроде бы и не наша это земля, вроде бы мы и не хозяева.

Меня заинтересовали и глубоко взволновали слова старика. Я не задумывался сейчас над его формулировками, но правильность его мыслей казалась мне бесспорной. И я горячо посоветовал ему выступить и поделиться мыслями с товарищами на первом же собрании.

Старый кузнец глубоко вздохнул и сразу сник.

— Я теперича стреляный патрон. Значит, пустая гильза с дырочкой посередке. Только для игры ребятишкам гожусь. — Он гулко кашлянул. Грустно улыбнулся. — Пенсионер я. Спасибо, государство о старости моей позаботилось. А только не радостно на душе. Видишь? — Он вытянул перед собой руку. Медленно сжал кулак. На нем сразу же набухли синие жгуты вен. Казалось, кулак на глазах разбухал, наливаясь тяжестью и сокрушительной силой. — Я еще кувалдой, знаешь, как рабо-

таю. А в кузню приду — на меня все косятся. Будто ворую что. «Ты дед, говорят, пенсию заслужил и сиди на печи». А пошто мне на ей сидеть? Ты говоришь, иная молодежь к земле равнодушна. А кто ее должен научить, как с землей обходиться? Кто должен в нее и любовь к крестьянствованию, и сноровку влить. Старики. А они на печах сидят, огороды разводят да кабанов выкармливают. Тыфу.

Мы просидели до сумерек. На прощанье я долго жал сухую, сильную руку старого кузнеца. Он проводил меня до калитки.

Ветер неожиданно стих. Сиреневые сумерки разлились по земле. Над деревней застыла какая-то сытая, умиротворенная тишина. Ни стуку, ни человеческого голоса.

Тропинка полого сбежала к реке. Ее берега густо поросли черемухой. Пройдет неделя-две, и берега затопит благоухающий белопенный разлив буйного весеннего цветения. Когда цветет черемуха, все вокруг кажется необычным, сказочно красивым и ярким. Необычно шумит речная волна. Необыкновенно поют соловьи. И отношения людей становятся необычными. Близость природы благотворно действует на человека. Люди здесь, может быть, кажутся грубоватыми и неразговорчивыми, но все это только внешние качества.

И беда, коли писатель не сумеет за внешней оболочкой явлений разглядеть их сущность.

Был у меня знакомый литератор. Человек эрудированный, хорошо владевший нелегким жанром очерка. Написал он книгу о людях Мещерского края. И, вместо благодарности, ему пришлось выслушать много горьких упреков и нареканий от героев этой книги. Пришел этот литератор в дом к бригадиру и сразу увидел теленка в углу у порога и клопа на стене. Об этом клопе и теленке он и написал в своей книге. А о том, что бригадир — прославленный новатор производства и замечательный организатор, о том, что в доме бригадира есть хорошая библиотека, а его дети учатся в вузе — об этом и многом другом автор ни словом не обмолвился...

Я перешел мостик, выбрался на большак и тут же увидел молодого парня с мотоциклом. Парень сидел на корточках и ремонтировал машину.

— Что случилось? — поинтересовался я. — Лошадка заурсила?

— Тут надо не на мотоцикле, а на вездеходе ездить. Не дороги, а черт-те что. Ямы да колдобины. Сейчас сухо, и то невозможно ехать, а в распутицу сколько машин погробили. —

Парень выпрямился, устало оперся о раму мотоцикла. Мы закурили. Он снова заговорил. Уже менее раздраженно. — А ведь сейчас и бульдозеры, и грейдеры, и экскаваторы есть. Не так уж трудно от села к селу хотя бы грейдерную дорогу сделать.

Я согласился с ним и спросил, откуда он едет. Оказывается после работы он ездил в райцентр.

— Что за нужда? — любопытствовал я.

— Смешно говорить. За лезвиями да за одеколоном ездил. У нас в магазине ни того, ни другого — полгода уже нет. Только духи по пятерке за флакон.

— Купили?

— Ни черта не купил. Там тоже нет. Папирос вот взял двадцать пачек. И то ладно. Ну, пока.

Парень завел мотоцикл и уехал.

Я смотрел ему вслед и думал о мелочах быта, которые отравляют жизнь человека. А еще я подумал о работниках торговли и о целой армии уполномоченных из разных областных и районных организаций. Если бы они серьезно отнеслись к нуждам труженников села, этому парню не пришлось бы ехать шестьдесят километров за лезвиями или папиросами...

Тут со мной поравнялась попутная машина. Я «проголосовал» и через минуту очутился в кабине новенького грузовика.

Мы не ехали, а буквально «плыли по волнам» разбитой дороги и всякий раз, когда я стучался головой в крышу кабинки или тыкался носом в ветровое стекло, я вспоминал сердитые слова мотоциклиста.

Шофер не жалел ни себя, ни машины, и через сорок минут мы были в райцентре.

Усталый и переполненный впечатлениями, я медленно шел ночной улицей. Холодало. Снова разгулялся ветер. Он раскачивал электрические фонари, трепал обнаженные ветви деревьев, от которых на тротуаре плясали причудливые тени.

Старый плащ плохо защищал от ветра. Я съежился и прибавил шаг. «Вот и ранняя весна, — недовольно думал я. — Вчера было восемнадцать градусов тепла, а сейчас того и гляди полетят белые мухи. Хорошо еще, если натоплено в гостинице и моим соседом по номеру окажется интересный собеседник».

В эту ночь я долго не мог уснуть. Я думал о тех, кто придет нам на смену, о молодом поколении, которому предстоит жить в коммунизме.

Я уверен: мы создадим материально-техническую базу коммунизма, перегоним США по жизненному уровню народа, по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции

на душу населения, создадим настоящее изобилие продуктов и товаров. Все это будет. И скоро.

Но ведь для полной победы коммунизма нужны еще новые люди, для которых моральный кодекс партийной программы являлся бы законом жизни. Мне представляется человек будущего, гражданин коммунизма всесторонне развитым, физически и духовно красивым, образованным и высококультурным.

Я внимательно приглядываюсь к себе и окружающим людям, прислушиваюсь к разговорам, пытаюсь понять мысли, желания, душевный настрой моего современника. И далеко не всегда образ, составленный из живых наблюдений, совпадает с образом, вылепленным мечтой.

Мы очень много внимания, сил и средств уделяем созданию материально-технической базы. Она растет не по дням, а буквально по часам.

Вот кое-кто и пытается этими успехами прикрыть большие огрехи в воспитании. А ведь сознание человека сформировать несравненно труднее, чем, скажем, добыть лишнюю тысячу тонн рыбы или угля. Всесторонне культурным человека не сделаешь за год, за пять и даже за десять лет. Настоящая культура — продукт не одного поколения. И надо обратить максимум внимания, отдать максимум сил коммунистическому воспитанию. Надо ни на секунду не прекращать борьбы за духовное совершенствование нашего поколения, которое будет жить при коммунизме.

Порой, беседуя с молодежью мы подходим к ней с меркой тех времен, когда сами были молоды. Мы упускаем из виду, что прошло много лет, изменилась жизнь, изменились взгляды на многое, да и сами мы претерпели серьезные изменения.

Недавно мне довелось беседовать с одним почтенным и уважаемым человеком.

— Что за молодежь пошла, — негодовал он. — Я им рассказываю о своей юности, о трудностях и лишениях, которые мы пережили, а они скептически улыбаются. Один даже выкрикнул: «Это было в тридцатом, а теперь шестьдесят второй».

Я окинул взглядом разгневанного собеседника. Модный, дорогой костюм, крахмальный воротничок, галстук с блестящей приколкой, узконосые лакировки на ногах и массивная трубка во рту. Не правда ли, комический контраст его облика с его словами мог вызвать и скептические улыбки...

Нет, старая мерка не подходит, но революционные традиции, напоминающие молодежи о тех, кто своей кровью полил ту

почву, на которой произрастают теперь блага жизни, надо блюсти.

Почему бы в День Победы не установить минуту молчания? Чтобы в одно мгновение остановилось все движение в стране и двести миллионов человек, обнажив головы, стояли бы минуту в скорбном безмолвии, отдавая дань благодарности воинам, павшим в боях с фашизмом.

Почему бы в революционные праздники не провести митинги на могилах жертв революции и гражданской войны?

Почему бы на экраны наших кинотеатров не открыть пошире дверь «Чапаеву», «Броненосцу Потемкину», Трилогии о Максиме?

Каждый день по радио устраиваются музыкальные передачи. Каких только песен не услышишь. А вот многих великолепных революционных и боевых современных песен, отражающих целые эпохи жизни родной страны, доводится слышать мало.

А гармонь? О ней хочется сказать поподробнее.

#### 4. Гармонь

Я вырос в глухой, таежной деревеньке.

В деревне рано ложились спать. Бывало, только загустеют сумерки, и сразу становится тихо-тихо. Изредка сонно тявкнет собака или громко вздохнет корова в хлеву, или петух клюнет тишь горластым, сторожевым окриком. И снова тишина.

Ночные звуки не нарушают гармонии этой тишины. Они вплетаются в нее, как тонкая, шелковая нить вплетается в единый рисунок ткани. Однотонно поют сверчки. С недалекой поскотины доносится ржанье пасущихся лошадей. В речушке, петляющей на задах, булькают лягушки.

Такая сытая, такая благодатная тишина дремлет в деревенских переулках, что невольно слипаются глаза.

Дремлет рожь у околицы, сонно свесив тяжелые колосья, дремлет речка, накрывшись зеленым покрывалом из тины и лопухов, дремлют высокие кудрявые черемухи под окнами. Все дремлет. И, кажется, до утра уже ничто не нарушит сонный покой.

Но вот, где-то в середине улочки, тихо скрипнула ржавая петля калитки. Рядом звякнула щеколда: еще одна калитка выпустила кого-то. На лавочке под старой, раскидистой черемухой слышатся приглушенные голоса парней. Вспыхивают спички, загораются папиросы. И вдруг, будто тревожный вздох ночи, мягко ухают басы гармошки. Сразу же, словно вспугнутая

стая птиц, взлетают ввысь десятки звонких гармонных голосов. Это гармонист пробует лады.

Чаще и громче захлопали калитки. В темноте хорошо видны белые платки и платья девушек. Они идут не спеша, поджидая друг друга, и вполголоса переговариваясь. Скамья не вмещает всех. Они становятся перед ней полукругом.

Гармонистова любаша кладет ему руку на плечо и что-то шепчет в самое ухо. Парень встряхивает головой, круто выгибает шею и с силой тянет меха гармоники. Лопаются, взрываются сонная тишина. Кажется, что природа, вздрогнув, стряхивает с себя сонливость. Ярче разгораются звезды, звонче плещется река, зашумела ветвями белая черемуха.

Закончив перебор, гармонист играет тише. Чистый девичий голос начинает припевку. Ее сменяет другая, третья.

Гармонист склонил голову набок, свесил чуб на глаза и извлекает из своей маленькой, старенькой гармошки такие трели, что по спине мурашки бегают.

Гармонистова зазноба выпорхнет в круг, притопнет каблучком и прикажет: — Шестерку!

Еще ниже наклонит голову гармонист. На меха гармошки упадет длинный русский чуб. Безжалостно рванет он меха, гармонь вдруг так вскрикнет, что сердцу станет тесно в груди.

Подбежит парень к девочатам, возьмет двоих за руки и — в круг. Против них моментально появляется такая же тройка. Начинается знаменитый сибирский пляс. Мнут и топчут траву молодые сильные ноги. Короткие, звонкие припевки сменяют одна другую. Гармонист не выдерживает, срывается с места, и все идут следом за ним. Идут серединой улицы. Идут и поют...

Под звуки гармоники пролетело мое босоное детство, с гармошкой на плече вошел я в юность.

Позже, став комсомольским работником, я понял, что гармонь — не только веселье и отдых. Гармонь — это боевое оружие сатиры, это великолепный организатор молодежи.

Есть у гармоники неразлучная подруга — частушка. Частушки не пишутся профессиональными поэтами. Они рождаются в народе. Они — самородки. Частушка безжалостно высмеивает непорядки, бичует лодыря и взяточника, клеймит тунеядца и хулигана. Она никого не милует, не боится и не щадит. Зато ее все боятся...

Раз, осенью сорок четвертого года Голышмановский райком партии (я работал тогда секретарем райкома ВЛКСМ) командировал меня в один из колхозов района.

Положение было очень тревожное. Ненастная, холодная осень грозила гибелью всему урожаю. Скошенный хлеб прорастал в сулонах. А тот, что был не скошен, полег на землю, и его можно было убирать только вручную. А кому убирать? Женщины и мальчишки выбились из сил, вымотались. Казалось, нет уже такой силы, которая могла бы расшевелить, зажечь их, поднять на новый штурм.

— Так что, парень — сказал мне председатель колхоза. — Ни о каком воскреснике и не заикайся. Никто в ночь не пойдет. Погода, правда, хорошая выдалась. Можно бы комбайн на молотьбу поставить. Да только люди не пойдут. И никто их не заставит.

С большим трудом нам удалось собрать в клуб несколько коммунистов и комсомольцев. Они уныло выслушали мою горячую речь и подтвердили слова председателя. Я понял — уговаривать их бесполезно.

Несколько минут мы просидели в тягостном молчании. Откуда-то с улицы донесся резкий металлический звук. Я вздрогнул.

— Гармошка?

— Какая гармошка? — устало улыбнулась комсорг. — Мы ее года два не слышали. Гармонисты на фронте. Есть один мальчишка. Учится, да пока кроме тустепа ничего не умеет. Тоска, — и она глубоко вздохнула.

— А гармошка есть поблизости? — поинтересовался я.

— У нас их с десяток наберется. А вы что, играете? — глаза девушки ожили, засветились.

— Да не то, чтобы играю, но дровишек могу напилить.

Комсорг несколько секунд испытующе разглядывала меня, словно увидала впервые, потом сорвалась с места и выбежала из клуба.

И вот в моих руках небольшая, выдавшая виды двухрядка. Я, как и всякий гармонист, для начала немного поважничал, побегал пальцами по пуговкам ладов, а потом заиграл подгорную.

Через час в клубе собрались и молодые, и старые, и малые.

Когда девчата наплясались, мы открыли митинг. Он был короткий и шумный.

— Девки, — сказал председатель. — Надо хлеб спасать. Погода вроде устоялась. Будем в ночь молотить. В общем, объявляем фронтовой воскресник. Кони запряжены, у клуба стоят. Кто хочет угодить с гармонистом — полезайте в фургон.

Все зашумели. Я поднялся, растянул меха и, наигрывая,

двинулся к выходу. За мной повалили девчата. Следом народ постарше. С шутками расселись по телегам, запели и поехали в поле.

Погода, видимо, смилостливилась над нами. Наступили ясные дни. И наш фронтовой воскресник затянулся на несколько суток. Все эти дни напряженнейшего труда всегда рядом с нами была гармонь. К ней усталые люди тянулись, как запоздалый путник к огню. Помните, как у Твардовского:

... И от той гармошки старой,  
Что осталась сиротой,  
Как-то вдруг теплее стало  
На дороге фронтовой.  
От машин заиндевелых  
Шел народ, как на огонь.  
И кому какое дело,  
Кто играет, чья гармонь.

Находясь вдали от Сибири, я часто вспоминал родное село. Летние вечера, радостно-тревожные песни гармоники.

Собираясь в Голышманово, я не раз говорил жене: «Не знаю, соберу ли я материал для своей книги, но зато послушаю настоящие сибирские припевки, вдоволь наслажусь вихревой «шестеркой».

И вот я в Малышенке. Сажу на скамейке у клуба, смотрю в темнеющее небо и чутко прислушиваюсь. Не запоет ли где гармоника.

В эту ночь я не услышал гармоники. Не услышал ее я и после.

На вечерах танцев в сельском клубе молодые люди под радиолу неумело танцуют фокстрот и танго. Но однажды я встретил все же баяниста и попросил его сыграть «подгорную». Он недоуменно пожал плечами и сказал:

— Я такой танец не играю.

Мне довелось побывать на двух концертах самодеятельности. Там плясали испанский и цыганский и еще какие-то танцы. Только сибирской «шестерки» не оказалось в репертуаре самодеятельности. Две девушки пели частушки, которые я уже множество раз слышал в исполнении рязанского хора.

— Почему бы вам не спеть свои, сибирские частушки?

— Это какие такие сибирские частушки?

— Ну те, которые в деревнях поют.

— В деревнях теперь частушки не поют.

Мне стало очень грустно и больно оттого, что она права. Оттого, что в деревнях не слышно ни припевки, ни гармоники.

«Ага! — злорадно воскликнет Дымшаков-наизнанку. — Мы зовем деревню к передовой культуре. Симфонии, оперетты, оперы, вальсы и полонезы. А вы плачете о гармонии. Тальянка... Двухрядка. Анахронизм».

Гармонь — это не тальянка, не двухрядка и даже не баян. Гармонь — это та волшебная сила, которая способна пробудить в душе русского человека самые благородные чувства. Эта сила может собрать, спаять, слить воедино и повести за собой разрозненную массу.

Вот и надо найти эту силу, которая распахивает настуженные людские сердца, и люди становятся видны и понятны друг другу. И каждый, чувствуя рядом локоть друга, слышит сердце друга и оттого хочет быть лучше, чище, совершеннее.

А что может быть труднее пути к сердцу человека? Этот путь не нанесен на карты, его нельзя проложить по компасу.

И вправе ли мы изъять из арсенала борьбы за человека будущего такое великолепное оружие, как гармонь?

\* \* \*

Прошло десять лет с тех пор, как партия провела глубокую борозду по нашей земле.

Десять лет — крошечный отрезок пути, пройденного нашим народом, но как много значит он для судеб родной земли. Именно на этом малом отрезке страна совершила крутой поворот. Настолько крутой и резкий, что кое-кто потерял равновесие и оказался за бортом. От такого поворота бока корабля очистились от ракушек, водорослей и слизи. И стальная громадина с удвоенной скоростью понеслась вперед, ленинским курсом к коммунизму.

Идет, гудет по любимой земле весна коммунизма. Ее приветствуют и природа и люди. И нет такой силы, которая смогла бы задержать ее, омрачить великий праздник обновления.

по мешай ель в бо!

Е. ШЕРМАН

## ПОД СТАЛЬНЫМ ПАРУСОМ

Триста шестьдесят лет ждало своего часа Березово — и дождалось. Но дождавшись, казалось, не допускало уже и минутной задержки. Древнее сибирское село, основанное еще в 1593 году, зажило совершенно в другом, торопливом и взбудораженном ритме.

В то время, когда буровики только усмиряли первую скважину, неподалеку от нее, на лесистом берегу реки Вогулки разгружались все новые и новые суда. Они привозили в тайгу тракторы и специальные машины, оборудованные тонкими, сложными приборами, электромоторы и бухты кабеля, запасы строительных материалов, горючего, взрывчатки и продовольствия. Геофизики, без которых нельзя себе представить современную нефтяную и газовую разведку, готовились к решительному штурму тайги: приводили в порядок технику, строили на восточной окраине Березова первые дома будущего поселка.

Они были курьезными, эти дома. Нивесть откуда попали в северные края странные круглые здания, похожие на среднеазиатские юрты, только из дерева. Как сборный пирог, дом делился на множество частей: отсеков, коридорчиков, чуланчиков. Здесь размещалось все: мастерские и канцелярии, диспетчерские и склады. А ночами, если не было авралов на разгрузку судов, эти самые мастерские и диспетчерские превращались в общежития. Спальный мешок на пол (счастливец доставались канцелярские столы), завернутые в ватник счеты под голову — и ночлег обеспечен. Только мерный храп раздавался там, где днем осипшие простуженные голоса с помощью «многоэтажного» красноречия выколачивали позарез нужные

материалы, запасные части или лишнюю бригаду на строительство.

Не узнать сейчас старинного поселка. За несколько лет Березово изменилось больше, чем за века своего прошлого существования. Со всех сторон подступили к нему, возвышаясь над тайгой, буровые вышки. Вместе с Усть-Сосьвинским рыбоконсервным комбинатом, кстати, первым предприятием области, переведенным на газовое топливо, они сразу придали индустриальный облик бывшему глухому селу, а сейчас молодому рабочему поселку Березово. На улицах, знавших некогда только оленьи нарты, то и дело снуют юркие автомашины и мощные трактора. Они волокут тяжелые сани с буровым оборудованием, сейсмическими станциями разведчиков-геофизиков. Где-то около замерзший реки застрекотал вертолет. Вот он вошел в хмурое небо и, медленно уменьшаясь, направился в глубину урмана — это геофизики испытывают новые, наиболее современные методы разведки с помощью авиации.

В большом новом поселке геологов тишина не наступает даже поздним вечером и ранним утром. То возвращаются с ночной вахты буровики, то идет с песнями из клуба молодежь, то зафырчит автомашина разведочной партии, бросая свет фар на бревенчатые стены домов, на иссеченную тракторными гусеницами снежную дорогу, на закуржавевшие от мороза деревья, вплотную прижавшиеся к поселку.

«Геологическая столица» — так назвали в ту пору Березово. Отсюда волна разведок расходилась по всей Западной Сибири, откликаясь то еще одним газовым фонтаном, то новым нефтяным месторождением.

Но тайга есть тайга. Близкая и понятная местным жителям — охотникам и следопытам, новичкам она казалась злоедей. Сколько раз они становились втупик перед многокилометровыми лесными завалами и не замерзающими зимой болотами; сколько раз тяжелые тракторы проваливались в реку, под размытый грунтовыми водами лед; сколько раз пурга и морозы вырывали драгоценные дни — разве накоротке перескажешь все услышанные у ночного костра или в тесной избушке истории, повествующие о ежедневном, будничном героизме первых искателей сибирской нефти и газа.

Но чем дальше, тем становилось яснее — одного героизма, одного личного мужества недостаточно. Нефтегазразведчики оснащены техникой, пожалуй, больше других геологов — нефть и газ залегают глубоко под землей и искать их значительно трудней. Пока разведки велись, в основном, в густозаселенных степных

районах Юга и Поволжья, эта техника вполне себя оправдывала. Но переход в труднопроходимую, малообжитую зону Сибири поставил разведчиков перед новыми, совершенно неожиданными трудностями.

Началось с того, что лето, которое в обычных условиях бывает самым плодотворным для геологов временем года, на Севере пропадало впустую. Только при поверхностном наблюдении тайга кажется сплошным лесным массивом. На самом деле она то и дело перемежается болотами, многочисленными речками и речушками. Тракторам, автомашинам туда и не подступиться. Проблема транспорта становилась не подсобной, а основной, определяющей.

Особенно страдали от этого буровики. Как сделать, чтобы громоздкие вышки и мощные моторы могли передвигаться в любое время года? Как превратить сибирские реки из врагов в надежных помощников?

Ночью директору Берёзовской конторы бурения Александру Григорьевичу Быстрицкому приснился Драцкий. Конечно, спорили о чем-то. Такой, как всегда, настырный. «На работе мне тебя не хватает», — поморщился, вспомнив утром, Быстрицкий, с трудом натягивая не просохшие за ночь сапоги.

Сон оказался в руку. Едва Быстрицкий появился в своем маленьком, огороженном фанерой кабинетике, как туда проник начальник вышкомонтажного цеха Николай Драцкий. Обычно разбитой, даже чутьчку несдержанный, на этот раз он выглядел скромным, почти смущенным. Только озорной взгляд да размашистые движения рук порой выдавали лихой характер, от которого так солоно приходилось окружающим.

— Как насчет моего предложения, Александр Григорьевич? Четыре месяца выигрываем. Дело верное, — нарочито будничным голосом, словно уточняя давно решенный и совершенно бесспорный вопрос, начал Драцкий.

— И не думай — который раз говорить надо! — вспылил Быстрицкий, и его седые кудри даже заколыхались от возмущения. — Измором не возьмешь! Сказал — дело новое, к нему такая подготовка нужна...

— Была подготовка, — упрямо вставил Драцкий.

— ...Такая подготовка нужна, — директор конторы будто не заметил возражения, — что и месяца не хватит. А тут не сегодня — завтра река станет. Что тогда? Может, на льду забуришься? — ядовито спросил он.

— Успею дойти.

— Как же, успе-ешь!

Они стояли друг против друга, оба невысокие, оба горячие, рассерженные, готовые схватиться в отчаянном споре. Быстрицкий — немолодой, начавший грузнеть. Драцкий — худощавый, подтянутый, с мальчишеским черным чубом, свисающим на лоб и на широкие, прямого разлета брови.

Вдруг директор конторы почти миролюбиво усмехнулся, седые кудри его вернулись в спокойное состояние.

— Ладно, кончай базар. Все равно ничего не выйдет.

— Но, Александр Григорьевич...

— Хватит, Николай. И так у нас с тобой каждое утро, вроде физзарядки. Будь здоров, не мешай работать, — с шутливой бесцеремонностью, какая бывает между давно и хорошо знакомыми людьми, Быстрицкий выпроводил Драцкого. Несмотря ни на что, он любил этого бедового, неумного в работе парня, вечного выдумщика. Да и сейчас Николай интересную штуку задумал: перевезти вышку по реке, не разбирая ее, стойком. Только время неподходящее. И боязно, честно говоря, — вдруг ухнет в воду, ведь еще никто никогда не плыл с вышкой.

Тем временем Драцкий отправился к своим монтажникам. Там уже работали всюю: подгоняли тяги, усиливающие крепление вышки, соорудили систему блоков.

— Разрешил Быстрицкий? — с надеждой спросил бригадир Балтин, самый пожилой из монтажников, приземистый, плотно сколоченный, немногословный человек.

— Пока нет. Разрешит, куда денется, — Николай не хотел разочаровывать товарищей, которых успел увлечь новой идеей. — После обеда снова пойду. Поспешать надо. Чтобы завтра все готово было.

И занялся чертежами, в который-то раз проверяя все детали задуманного водного перехода.

А проверять было что. Конечно, зимой таскать вышку привычнее. Но до зимы еще дожить надо. Пока все речки замёрзнут, пока болота застынут, не меньше трех-четырёх месяцев уйдет. Сколько за это время дел переделать можно! А ребятам-буровикам что? Сидеть на простое и ждать, пока «пан Драцкий» соизволит подготовить им рабочее место?

Николай представил себе утреннюю разрядку в конторе бурения и унылые лица буровиков, неделями, а то и месяцами ожидающихся установки вышки. Кому приятно сидеть так — ни дела, ни заработка! Да ему в глаза им посмотреть стыдно будет: хотел помочь и отступился.

Он вспомнил, с каким живым интересом отнеслись буровики к его необычной затее, как однажды после разговора с Быстриц-

ким, дружески похлопывая его по плечу, просили: «Ты уж постарайся. Выручишь, браток».

Нет, надо зубами выгрызть, но своего добиться!

Драцкий понимал, какую тяжелую ношу взваливает на свои плечи. Уже несколько лет березовцы, по примеру других, перетаскивали неразобренные вышки по земле, но только зимой, когда замерзнет почва и пойдет снег. Поставить же вышку на воду и перевезти ее по реке — такого еще не знали нефтяники мира. Понятно, в других, обжитых местах, где есть дороги, это и не нужно. Но Сибирь всюду поворачивается своей необычной, удивительной стороной. Как же использовать для передвижения реки — основные магистрали края? Над этим Николай задумывался уже давно. Ответ напрашивался сам собой, но возникали тысячи деталей, очень важных и совсем неизвестных частностей. Какой шторм может выдержать вышка? Как лучше крепить ее? Что предпринять, если судно попадет на мель? Какой избрать порядок движения? Какие сконструировать дополнительные приспособления?

И каждый раз, не найдя сходных примеров из практики, ему приходилось углубляться в расчеты, в чертежи, в схемы, чтобы свести к минимуму неизбежный риск первой попытки.

Есть такая категория людей. Веселые, удачливые, заводилы во всех компаниях, они кажутся ясными с первого взгляда, а их успехи — легкими, словно достигнутыми шутя, попутно. Скрывая от людей напряженную работу мысли, они с усмешкой преподносят только результат ее, создавая впечатление несложности задачи. Таким был и Николай. Мало кто знал, сколько вечеров провел он дома, за столом, готовясь к этому переходу, сколько бумаги извел в поисках лучших вариантов. Этот внешне бесцеремонный парень прятал в глубине души какую-то трогательную застенчивость. Потому так ранили его слова начальника о неподготовленности операции. Он-то знал: продумано все до мелочей, и твердо стоял на своем.

Сразу после обеденного перерыва неугомонный Драцкий снова появился в конторе бурения. Нашлись текущие дела: очередность монтажа вышек, заказы отделу снабжения. Но Быстрицкий знал: все это лишь предисловие к главному, навязшему в зубах разговору. И едва Николай начал говорить о катерах и водном переходе, он показал телеграмму.

— Хватит. Завтра будет начальник управления. С ним и говори. Только предупреждаю: мое мнение — против.

— Но почему, Александр Григорьевич?

— А то не знаешь? По подготовке — рано, по времени — поздно, конец осени. Если что случится — тебя не выручить.

— Так ничего же не случится, Александр Григорьевич! Все рассчитано.

— Мало мы говорили! Ей-богу, Николай, велю тебя в контору не пускать.

Но и на следующее утро первым, кого увидел в конторе Быстрицкий, был все тот же Николай Драцкий. Он атаковал начальника Тюменского геологического управления Эрвье, едва тот успел выйти из самолета.

— Юрий Георгиевич, выручайте. Есть предложение одно, да ему ходу не дают. Бюрократизм заедает.

— Тебя заесть, — очень уж зубастым быть нужно. А конкретно?

Драцкий употребил все красноречие — он с горячностью отстаивал свои планы, показывал чертежи, расчеты, подкрепляя это энергичными, выразительными движениями рук, которые объясняли не хуже чертежей. Но Эрвье только с сомнением покачивал головой.

— Да, загвоздка солидная. Будем решать сообща.

Дорого далось начальнику управления вскользь данное обещание. С тех пор он уже не знал покоя — чуть ли не каждый час Николай с наивным видом осведомлялся: когда состоится совет. Глядя на это, Быстрицкий только усмехнулся — пусть знает начальство, как с такой «овечкой» работать.

На второй день Эрвье не выстоял. Долго спорили, придирчиво рассматривали все документы и проекты. Голоса явно разделились.

— Да разве его прошибешь, — вставил главный инженер конторы бурения Владимир Ильич Белов, иронически поблескивая стеклами солидных «профессорских» очков, которые казались на его молодом лице какими-то ненастоящими. — А идея технически интересна.

— Интере-есна, — раздумчиво согласился Эрвье и, наконец, твердо заключил:

— Итак, рискнем! Готовься.

— А я уже готов, Юрий Георгиевич.

— То есть, как готов?

— Так. Пока пороги обивал, бригада работала. Приспособления уже на буровой. Завтра можем начинать. Все равно знал, что добыю, — и, глядя на удивленные лица вокруг, Драцкий радостно и озорно рассмеялся.

...На буровую они уехали еще с вечера — всей бригадой. Для такой операции Драцкий подобрал самых крепких, самых деловых парней: рослого Бориса Осколкова, человека огромной физической силы и удивительной невозмутимости; разбитного, бойкого на дело и слово Григория Жернова, чем-то напоминающего самого Николая; белесого, спокойного, даже слегка флегматичного Александра Виткасова, который однако обладал завидным свойством оказываться именно на том месте, где он больше всего нужен. Ну, и, конечно бригадира Владимира Балтина — на него начальник вышкомонтажного цеха надеялся, как на самого себя.

Хоть и сказал Драцкий на совещании, будто у него все готово, но больше для того, чтобы блеснуть, ошеломить «начальство». На самом деле, работы оставалось порядочно. Всю ночь горел на буровой свет. Всю ночь монтажники укрепляли остов вышки, устанавливали блоки для тросов, монтировали приспособления. Зато когда рассвело, они уже могли начинать переход.

Стояло холодное октябрьское утро. Хмурая северная осень поджелтила неровной охрой привядшую траву, подшибла некогда задорные хохолки болотного пырея, проложила колкие льдистые пластинки на лужицах. Вышка, освобожденная от фундамента, стояла на специальных трубах, напоминающих полозья богатырских саней. С верхней площадки ее были видны выползающие из туманной сырости улицы Березова, темная лента реки, гребенчатые ряды дальней тайги. И тишина, спокойная, умиротворяющая.

Но вдруг застучал, зафыркал трактор, ему ответил другой. Заскрипели тросы, тяжело зашлепали по земле полозья.

И началось...

Если бы в этот день кто-нибудь из сторонних зрителей побывал на пустынном берегу Северной Сосьвы около Березова, он мог бы видеть удивительную процессию. Впереди по жухлому болоту двигался трактор. Длинные тросы шли от него к высокой, сорокаметровой вышке. Такие же тросы тянулись к стоящему позади трактору, который поддерживал равновесие этого громадного сооружения. Сама вышка медленно и тяжело двигалась по болоту, оставляя глубокий, словно пробуравленный в почве, след.

Впрочем, зрителей не было. Все, кто находился в этот день на бывшей буровой — и монтажники, и трактористы, и командиры производства, — уже не раз оказывались свидетелями и участниками сухопутной перекочевки вышки. Они знали — глав-

ное наступит потом, когда вышка доберется до обрывистого берега реки. И ждали этого с затаенным, плохо скрываемым волнением.

Драцкий стоял на одной из труб — полозьев и командовал движением. Условный взмах руки — и трактор менял направление, обходя слишком топкое место, или задняя машина сильнее натягивала тросы, чтобы закрепить вышку. Весь начальный путь прошли без особых проволочек.

Наконец, вышка очутилась на берегу, резко обрывавшемся к реке. Метрах в семи от берега — ближе не подпускала отмель — покачивались на легких волнах два счаленных борт-о-борт понтона. Массивные, тупоносые, с огромными, как афишные тумбы, деревянными кнехтами\*, они прежде служили для перевозки железнодорожных составов — до сих пор по палубам ползли остатки рельсов. Сейчас им придется принять совершенно иной груз. Как они справятся с ним?..

Словно «болея» вместе со всеми за успех начатого дела, вырвалось из туч редкое в это время года солнце. Оно сразу окрасило все вокруг в новые, бодрые тона — подчеркнуло зелень, оставшуюся на ветвях прибрежного тальника, подошло растаявшие к полудню лужицы, разыскрило мазут на боках изрядно потрудившихся тракторов. Оживились и люди. Тракторист переднего тягача Василий Никулин, растирая шею, весело воскликнул:

— Товарищ начальник, мне надбавка за повороты полага-ется! Все время следи за вышкой, гни назад шею. На ней, небось, за полдня вся резьба сорвалась.

Но Драцкий, всегда готовый подхватить шутку, на этот раз сумрачно молчал. Сейчас начнется самое трудное — нужно протянуть на весу от берега к понтонам тридцатитонную махину. Для этого сооружен специальный трап — две колеи, в каждой по три бурильных трубы, намертво скрепленных на концах болтами. По ним и пройдут полозья вышки.

Уже урчал на судне трактор, который казался таким маленьким рядом с громоздкими понтонами и уходящей далеко в небо вышкой. Уже стояли на своих местах монтажники. Но Драцкий все не давал команды начинать.

Он нервно курил папиросу за папиросой, механическим движением руки все время распрямляя и без того прямые черные брови. Каким-то шестым чувством — чувством монтажника, он

---

\* Кнехты — столбы — упоры на судне для закрепления причальных канатов.

догадывался, что именно на этом этапе есть какая-то слабина. Но какая?

«Э, была не была! На своей шкуре проверю». Он еще раз подошел к пролету, внимательно оглядел колею, полозья, проверил крепость тросов. И решительно направился к вышке.

Но дорогу ему преградил бригадир Балтин.

— Ни к чему, Николай. На вышке от тебя пользы не будет. Зачем жизнь зазря на кон ставить?

— Пусти!

— Не пущу! Ты на берегу нужней.

Николай нехотя согласился. В душе он понимал правоту бригадира, только не хотелось покинуть самого опасного места в решающий момент. Напрягшись, он неотрывно смотрел, как медленно, словно нехотя, вползали полозья безлюдной вышки на край пролета. Трактора, надрываясь от усилий, все наматывали и наматывали тросы. И хотя надсадно рокотали моторы, скрежетало железо о железо, слышались прерывистые команды, Драцкому казалось: такая тишина стоит, что можно услышать, как вышка рассекает воздух.

А она шла все вперед и вперед, отвоевая сантиметры опасного пространства.

Чуяло сердце, чуяло! Все-таки просчитался, не додумал до конца! Чем ближе к середине пролета, тем слабее становились трубы колеи, тем с большим трудом принимали они на себя многотонную тяжесть. Как же не догадался, дубина, пробить болты посередине трапа? Колея поддается, трубы раздвигаются, в промежуток угрожающе вклиниваются полозья вышки. Вот они намертво застопорились, и вышка, ставшая в этот момент поразительно неуклюжей, беспомощно застряла в центре пролета, между берегом и понтонами. Как струны, натянулись стальные тросы с палец толщиной. Еще рывок трактора — и порвутся они, словно гнилые нитки. А то и хуже случится — не выдержит колея, лопнут трубы, вышка грохнется прямо в воду. И все из-за его поспешности, похвальбы, недалекого расчета!

— Сто-о-оп!

Решение созрело мгновенно:

— Дать слабину на тягач! Дергай задним!

Трактор, только что настырно тянувший вышку вперед, вдруг замолк, тросы ослабли. Зато взъярился тот, что раньше лишь удерживал позади равновесие. Мгновенье вышка стояла неподвижно, словно в раздумье, потом, уступая напору мощного мотора, едва покачнулась назад. Передние полозья вылезли из щели между трубами.

И в ту же минуту заработал тягач. Опять вышка медленно поползла вперед.

Так повторилось три раза. Наконец опасная середина пролета осталась позади. Скрепленный болтами конец колеи снова уверенно держал тяжесть.

Как гигантский вздох облегчения послышался тяжелый всплеск волны под понтонами.

Вышка вступила на судно.

Драцкий что-то кому-то говорил, от кого-то отшучивался, принимал какие-то поздравления, но всем своим существом был еще там, на пролете, переживал предельное напряжение незабываемых минут. Он поднес к вспотевшему лбу платок. И удивился. Платок был уже совершенно мок, хоть выжимай.

Были и дальше какие-то трудности, пока переваливали вышку через рельсовый путь, пока устанавливали на двух понтонах, чтобы найти равновесие. Но это не шло ни в какое сравнение.

Уже поздним вечером, когда в насквозь прокуренной диспетчерской уточняли маршрут завтрашнего похода, Быстрицкий иронически спросил:

— Ну, признайся, струхнул малость?

Николай хотел было выдержать характер и ответить с обычной задиристостью. Но лишь усмехнулся, несмело провел рукой по бровям и честно сознался:

— Поначалу — не успел. Как кончилось — испугался.

Утром отправились в путь — необычный караван, каких не знали еще в этих местах да и, пожалуй, во всех других. Впереди, в кильватер друг за другом шли буксирные катера «Изумруд» и «Изыскатель». Следом за ними, занимая в узких местах чуть ли не всю ширину реки, двигались внушительные понтоны, напоминающие плавучие острова. А на них, словно сторожевой пост, поднялась к небу нефтяная вышка, слегка покачиваясь на волнах.

Драцкий поднялся на самую ее верхнюю площадку. Сырой воздух осени ступеньками дали, но Березово еще виднелось едва заметным муравейником. По соседней, свинцового оттенка протоке плыла белая скорлупка последнего пассажирского парохода. В разных сторонах чуть проглядывались, возвышаясь над тайгой, темные свечки буровых. Зеленый ковер хвои с ярко-желтыми вкрапинами лиственниц, удаляясь, становился неопределенно-пестрым, потом темнел, превращался на линии горизонта в сплошную подсиненную полосу. Мерное колыханье волн давало себя знать наверху заметной качкой. Иногда казалось, что вышка наклоняется к воде, и сердце замирало от мгновен-

ного, неосознанного испуга. Николай чувствовал себя на мачте какого-то старинного парусного корабля. Неожиданно он вспомнил, как мальчишкой зачитывался книгами про отважных мореходов, вместе с ними бродил по штормовым морям. Вот никогда не догадаешься, откуда вернется к тебе позабытая юношеская мечта!..

Но насущные заботы брали свое. Драцкий высматривал в бинокль хитросплетение протоков, пытаясь на местности отыскать проложенный по карте маршрут. Расстояние солидное — почти триста километров по Северной Сосьве, Малой Оби, Большой Оби. Приходится делать порядочный крюк, но иначе нельзя — уровень воды упал, не все протоки судоходны. Только бы успеть, пока не покроется текущая река ледовой чешуей шуги.

Шли по течению, скорость была хорошей: десять километров в час. Назад уходили берега, то высокие, покрытые голыми прутьями тальника, то низменные, в неровных кочках болот. Запоздавшие утки выпархивали из зарослей.

Изредка на берегу попадались люди, они остолбенело застывали, не отрывая глаз от удивительного каравана. А караван все двигался вперед, съедая первые километры длинного и — Драцкий это прекрасно понимал — нелегкого пути.

Тем временем жизнь на понтонах вступала в свою колею. Как все люди кочевых профессий, монтажники легко освоились на новом, непривычном месте. Не прошло и нескольких часов, а они уже чувствовали себя почти дома: кто стучал костяшками домино, гоняя нескончаемого «флотского козла», кто удобно примостился с книжкой, кто по примеру начальника поднялся на вышку и разглядывал окрестную тайгу.

— Эх, сейчас бы лето — прямо с вышки ныряй, — мечтательно воскликнул Жернов, вольготно расположившийся на средних полатях-подмостях верхового. — Чем не водная станция! Да еще на плаву.

— А ты нырни, попробуй, — незлобиво поддразнил его с палубы бригадир Балтин.

— Вода холо-одная! Подогреешь спиртом — согласен, — под общий смех отшутился острый на язык Жернов.

Не отдыхали только трактористы. Они на ходу подлечивали машины, которым изрядно досталось во время погрузки.

Темнота подкралась как-то неожиданно, сразу, и силуэт вышки едва виднелся на безлунном небе. На катерах и понтонах зажглись сигнальные огни. Светящихся бакенов уже не было — регулярные рейсы судов прекратились, и вахтенный матрос все

время опускал в воду наметку, чтобы не наскочить на частые в этих местах отмели. Двигались медленно, осторожно.

И все-таки вскоре пришлось остановиться. Вокруг потускнело, воздух стал матовым. Огоньки фонарей, еще недавно хорошо видные издали, едва-едва пробивались сквозь молочную пелену.

Туман.

Караван причалил к устью протоки Толчиной, когда было уже за полночь. Вся бригада спала в шкиперских каютах. Только к Николаю сон не приходил. Он вышел на берег, набрал сучьев. Из-за тумана костер даже вблизи казался тускло-оранжевым.

— Кто там? — тревожно прозвучал совсем рядом надтреснутый голос.

— Свои. С караваном.

— Поздненько идете, бедалаги, — уже успокоенно ответил тот же голос, и из тьмы вынырнул сухонький аккуратный старичок в меховой телогрейке, ватных штанах и оленьих чулках с самодельными галошами. Он подсел к огню, лизавшему подмокшие ветви.

— Далеко путь держите?

— К Полновату, дедушка. А ты чего здесь воюешь?

— Я-то? Я при службе. Голубев моя фамилия. Коней караулю. Мы — геофизики, — горделиво ответил дед, словно именно его лошадиный отряд определял всю сущность геофизической работы. — А тебя я знаю, видел в Березове, хоть и не часто гостю там. Эти самые штуковины железные ставишь...

— Вышки, — улыбнулся Николай.

— Во-во, вышки, — старик, видимо, стосковавшись в одиночестве по собеседнику, словоохотливо продолжал. — И фамилию припоминаю. Такая, забористая. Хватский, что ли? Нет, не Хватский. Драчливый, кажись?

— Драцкий.

— Говорю же — вроде про драку. А везете-то чего?

— Да так, разное, — Николаю не хотелось распространяться о необычном грузе.

Дед неторопливо выкурил махорочную самокрутку, пошел смотреть караван. Оттуда послышался его удивленный возглас. А вскоре у огня снова появилась сухонькая фигурка.

— Чудеса, и только. Сколько живу — такого не видывал. И как она только держится, дура долгая.

Помолчал. Закурил. Уже по-другому, сдержанно и уважительно, добавил:

— Не спится, браток? Оно понятно. Большой на себя груз взял. Ну, счастливо тебе добраться до места. Бывай здоровый.

И ушел в глубину леса, где по временам слышалось домотовитое похрапыванье лошадей.

Николай снова остался один. Он подкармливал костер сухостоем. Языки пламени вылизывали туман. Деревья скрипели на ветру голыми ветвями. В такие тихие, сосредоточенные минуты вспоминается все: и озорное детство в башкирском городе Стерлитамаке, и нефтяной техникум в другом городе Башкирии — Ишимбае, и десять лет работы на буровых, и семья. Каково сейчас Нине, ведь скоро должна подарить второго ребятенка. Хорошо бы девчонку... Но куда ни уводил причудливый ход мыслей, все равно возвращался к одному — к нынешнему переходу, к завтрашнему трудному дню.

Что обещает он? Тихое безветрие или злой шторм? Чистую воду или льдистую шугу? Открытое небо или вязкий туман? Готовым нужно быть ко всему. Николай знал — не один из его ребят просыпался этой ночью и, высовывая голову из спального мешка, с тревогой вслушивался в разговоры ветра и волн. Как бы то ни было — не теряться, не подать виду, что волнуешься. Но до чего это трудно! Только такой ночи и можно поведать свои сомнения.

Он бросил в огонь очередную порцию валежника.

Еще не начало светать, но воздух становился прозрачней. Утренний мороз прибил туман к земле, инеем осадил на вялую старую траву.

В пять утра двинулись дальше. Через несколько часов показался первый на пути поселок Устрем. Здесь тоже жили нефтеразведчики — чуть в стороне виднелись буровые вышки.

К берегу сбежалось все население небольшого поселка. Товарищи кричат что-то неслышное, машут кепками. Вдруг — винтовочный залп.

— Ишь ты, салют дают, как генералам, — усмехнулся Драцкий.

К понтонам подъехала моторная лодка. На борт поднялся Худаверди Кулиев, буривший здесь очередную скважину. Он бросился обнимать Драцкого:

— Ай да, Николай, молодец-человек! Поздравляю, поздравляю, дорогой! От Быстрицко радиограмма. Беспокоится. Давай ответ.

— Чего отвечать? Передай, все в порядке. Туман пережидали.

— Может, что нужно? Папирос, продуктов?

— Спасибо, всего хватает.

Тем временем моторка совершала какие-то замысловатые маневры. Она то обгоняла караван, то заходила сбоку, то удалялась на почтительное расстояние и снова возвращалась вплотную к судам. На носу суетились несколько человек с фотоаппаратами, чудом не сталкивая друг друга за борт. Их донимал ветер, окатывали волны, но чего не вытерпишь из любви к искусству — каждому хотелось запечатлеть беспримерный рейс.

— Эй, фотографы, через сколько лет карточки ждать? — посмеивался Жернов. Но те только улыбались посиневшими губами.

Устрем миновали без остановки. А навстречу уже идет рыбацкая деревушка. Снова люди на берегу, снова приветственные жесты и возгласы. Рыбаки, подплывая к каравану, дарили свежую рыбу, кедровые орехи, а то просто доброе слово. И долго еще ходила по тайге, от мансийского или хантыйского стойбища к стойбищу, удивительная весть о новом чуде, придуманном русскими братьями...

Необычное путешествие продолжалось. Вышли на Большую Обь, широко раздвинувшую угрюмые берега. Поселок Вонзеват, еще одна рыбацкая деревушка. Ход сильно замедлился — караван двигался против течения. Навстречу плыли рыхлые хлопья шуги. Прозрачное «сало» схватывало берега, вода на реке казалась загустевшей. Но на самом стержне она была еще чистой, успешно боролась с усилиями наступающей зимы.

Характер человеческий отходчив. Словно и не было тревожной туманной ночи, словно всю жизнь только и делали, что перевозили по стылой осенней реке торчком стоящую вышку — до того покойно было на понтонах. Осколков вытащил на палубу спальный мешок и, убравшись в затишок между тракторами и вышкой, наверстывал не досмотренные за ночь сны. Кто-то из шкиперов развесил между металлическими стойками наскоро выстиранное белье: самый вид его напоминал о домашнем, обыденном.

Драцкий сидел на палубе с остальными монтажниками. Разговор тек лениво: обо всем понемножку. То вспоминали какую-нибудь березовскую новость, то записной острослов Жернов «травил» тут же придуманный им «доподлинный случай» из своей жизни. Вот он оживился, лукаво посмотрел на начальника:

— Николай Васильевич, ты бы рассказал, как в отпуск ездил.

— Ну, вот еще, — Драцкий смущенно ухмыльнулся. — Слышал, небось.

— Ей богу, не приходилось, — вдохновенно врал Жернов. — Так, краешком уха...

— Отпуск как отпуск! — почти рассердился Николай. — Можно раз в два года отдохнуть?

— Что-то там про письмо поминали?..

— У-у, клещ! Ну, поехал на родину, в Башкирию. Отпуск четыре месяца, денег много. Загулял с дружками. Через два месяца письмо пишу ему. — Николай кивнул на Владимира Балтина. — Так, мол, и так, вначале я себя некультурно вел — пил, гулял. Зато сейчас совсем правильный — только в театр и библиотеку. Вышли в долг триста рублей.

— Во занул! — в голосе воскликнувшего слышится торжество. — Значит, так: в отпуск едешь — где ресторан, направо? Из отпуска — где кипятки, налево?.. А дальше?

— Что дальше? Ну, выслал он деньги.

— И снова по театрам?

Николай словно не слышал ехидного вопроса. За него ответил Балтин:

— Это уже сам догадайся. Только через неделю еще телеграмма: «Вышли сотню на дорогу».

Взрыв хохота. Дробно, как-то со звоном заливаются Жернов, восторженно хлопая себя по брезентовым коленям; у Виткасова смех редкий, но гулкий, словно пропущенный через уличный громкоговоритель; довольная усмешка на широком лице Балтина; даже Осколков высунул белокурую голову из спального мешка, недоуменно осмотрелся сонными глазами, и снова залег — на этот раз всерьез и надолго.

Смеется и Драцкий. Едва тронутое морщинками подвижное лицо его выражает самые разные чувства: и некоторое смущение, и озорство, и легкую иронию, и... и обыкновенную усталость.

— Нашли забаву. Зубомой, — он встает. — Какая каюта свободная? Отдохнуть малость надо.

...Его разбудили странные звуки, похожие на многократно усиленный шорох. Николай оторвал голову от подушки, прислушался. Шорох громчел, в него вплетались скрипучие нотки. «Понтоны бортами трутся, — догадался он. — С чего бы?».

Николай вышел на палубу. Здесь было спокойнее. Широкие понтоны не поддавались напору волн. Они лишь глухо покряхтывали деревянными боками. Начало темнеть, и монтажники ушли в освещенную каюту, откуда слышался азартный

перестук костяшек домино. На корме другого понтона меланхолично брэнчала мандолина.

Но стоило посмотреть вверх, и это кажущееся спокойствие сразу нарушалось. Вышка чувствовала приближение шторма. Она раскачивалась все заметнее, кланялась воде все ниже. Словно передавая ее тревогу, стонали тяги, скрепляющие металлические стойки.

Ветер заметно усиливался. Теперь качка чувствовалась и на палубе. Монтажники, покинув каюту, опасливо поглядывали на кренящуюся вышку — вот-вот упадет, ведь никак не закреплена. А крепить тоже нельзя — многотонная громада может вывернуть понтоны, весь караван искорежить.

Впрочем, Драцкий был пока спокоен. Когда особенно уж высокий вал вздымался над палубой, подхватывая на пенный гребень один из понтонов, а второй, наоборот, бросая в расщелину между волнами, он подносил к борту деревянный плотницкий аршин.

— Разница высот — сорок сантиметров. Терпим, ребята. Пока метра не будет, можно не беспокоиться. Все учтено.

Учтено-то учтено, да как не замрет сердце, когда после отчаянного порыва долговязая вышка, словно живая, заглядывает в реку. Кажется, еще мгновение, она нырнет сама. Присмиривший Жернов молча стоял, прислонившись к стенке каюты и время от времени сплевывая папиросную горечь... Да и у самого Николая порой противно екало под ложечкой. Его черные прямые волосы стали мокрыми от брызг, лихой чуб прилип ко лбу. На одежде не было сухого места. Но он как стал с плотницким аршином в промежуток между стойками, так и не покидал его.

А шторм свирепел. Темнота, встречное течение, встречный бешеный ветер. Если раньше вышка напоминала мачту, то сейчас она казалась огромным неуклюжим парусом, который никак нельзя повернуть в нужном направлении. Ветер прижимал понтоны к берегу, они шаркали по мелкому дну, терлись бортами о прибрежную глину. Катера, чтобы выровнять их, шли чуть ли не поперек Оби.

На глаза Николаю попало уродливое расщепленное дерево около самого берега реки. Три голых ствола его, как зловещая кривая вилка, возлились в самое небо. Прошло десять минут, двадцать, полчаса, а дерево не удалялось. Он вдруг понял: караван не движется вперед, вся сила двух катеров уходит на то, чтобы удержаться на месте, чтобы не сносило течением. На сколько хватит этих неравных сил?

Он с тревогой и надеждой прислушивался к голосу шторма — вдруг ослабнет или изменит направление. Но по-прежнему разбойничьи свистел ветер, глухо бились волны. Лишь иногда звуки разнообразились гулкими хлопками, похожими на удары крыла большой птицы, — это металось на веревке забытое незадачливый шкипером белье.

На ближнем катере мигнул фонарь. Погас и опять зажегся. Снова погас. Условный сигнал.

— Что там у вас? — Николай сложил ладони рупором.

Ветер принес ответ:

— Машина сдает! Не тянет! — голос капитана звучал испуганно.

И тут Николаем овладело слепое, темное бешенство. Все, что долгими часами накапливалось под маской внешнего спокойствия, прорвалось потоками яростной брани, бесполезных и безличных кулачных угроз, гневных выкриков. На его глазах по воле нелепого случая рушилась мечта, выношенная многими ночами раздумий и расчетов. А ему приходится только беспомощно смотреть на это — что может быть тяжелее?!

Он подбежал к самому носу понтона. Ветер, злорадно хохоча, расшвыривал его не слышимые никем слова. Привлекательное прежде лицо Николая исказила уродливая гримаса — искривила губы, согнула прямой разлет бровей. Темные волосы растрепались. Кулаки машинально сжимались и разжимались.

А неподалеку, чуть поодаль, сгрудилась взволнованная, напряженная бригада. Этот взрыв возник так неожиданно, что все оцепенели. Наконец Балтин подошел к Драцкому, положил на его плечо тяжелую руку:

— Опомнись, Николай! Что ты, рехнулся?

Николай сразу сник, виновато посмотрел на товарищей.

— Нервы не держат. Извини, сорвался.

— Тебе бы отдохнуть немного.

Но перед Балтиным уже стоял прежний Николай Драцкий — твердый, уверенный.

— Довезем вышку — отдохну. Слушай, вроде ходче пошли?!

Действительно, мотор на катере заработал ритмичнее. Вскоре зловещее трехпалое дерево исчезло из вида.

И опять томительные, напряженные часы, полные тревог и бессонного бдения. Только к утру вышка прибыла в Полноват. Семь километров караван шел одиннадцать часов — по полтора часа на километр!

Утром стихло, но снова пошла шуга. Это были уже не те рыхлые комья льда, что встречались прежде. Смерзшиеся льди-

ны неохотно уступали дорогу катерам и сразу смыкались за караваном, постепенно заполняя собой поверхность реки.

А сверху повалил снег. Видно, в небе была проделана основательная дыра — он шел безостановочно, крупными хлопьями. Через несколько часов все берега стали совсем белыми.

Караван в Полновате не остановился. К вечеру на высоком берегу Оби, не доезжая деревни Тэги, вырисовались контуры раньше завезенных дизелей, насосов, длинные поленницы бурильных труб.

Николай облегченно вздохнул. Добрались. Все-таки он оказался прав — вышка прошла 260 километров речных дорог. Первая в мире — подумать только!

Нечего и говорить — на следующее утро, когда начали разгрузку, настроение у всех было преотличное. Николай побрился, переделался, выглядел совсем молодым. Только темные круги у глаз напоминали о напряжении предыдущих дней.

Балтин критически оглядел товарища:

— Хоть сейчас на танцы.

Первыми выбрались на берег трактора. Словно застоявшиеся кони, они пытели и урчали, разбрызгивая капельки смешанной с водой солянки. Потом поползли неторопливо, вдавливая мокрый снег в мягкую торфянистую почву. Длинные тросы протянулись от них к корме, к носу сдвоенных понтонов, намертво закрепляя суда у берега.

Пора вытаскивать вышку. Монтажники, шкиперы и трактористы таскали огромные лесины, заводили уже знакомый нам трап из бурильных труб. Неудача при погрузке была учтена — еще в Березове середину каждой колеи закрепили массивным болтом.

В общем, все было в порядке. Все, кроме погоды. Будто чувствуя последнюю возможность задержать строптивную вышку, снова разбушевался холодный северный ветер. Он задувал как раз с берега, пытаясь отогнать, развернуть понтоны. Но те не двигались. Туго натянулись «цинкачи» тракторов, цепко прижались ко дну якоря.

Но что это? Сильный порыв ветра. Всплеск волны. Крутой поклон вышки. И корма стала уходить от берега.

Рухнули, нырнув краями в воду, трубчатые трапы. Часть людей растерянно стояла на берегу, остальных увозили понтоны. Тракторист Василий Никулин что-то кричал с борта, взволнованно показывая рукой в сторону своего трактора.

Николай оглянулся. И ахнул.

Трактор беззвучно двигался к реке, упираясь, вспахивая глубокую колею, но все-таки не в силах противостоять много-тонной массе, тянувшей его за трос, как поводырь за веревку. Уже близко круча берега. А там...

Не помня себя, запинаясь о кочки, Николай помчался наперерез. Скорее, скорее! Дать передний ход, полный газ! Спасти машину от гибели!

Пронзительный, устрашающий свист прорезал воздух. Николай упал.

Когда он поднялся, картина была уже иной. Трактор, зарывшись в болото, — это его и спасло, — спокойно стоял, не дойдя каких-нибудь пяти метров до воды. Трос лопнул — его свист и слышал Николай. Понтоны развернулись поперек Оби, — у берега их удерживал протянутый к носу трос второго трактора.

Вышка была цела.

И словно признав свое поражение, словно истратив все оставшиеся силы на неистовый порыв, ветер неожиданно утих.

Это было последним испытанием. Через несколько часов вышка, поднятая по трубам, уже стояла на твердой земле.

Свершилось! Николаю хотелось плясать, петь, громко радоваться. Но верный себе, он только деланно ворчал, соскабливая налипшую на костюм грязь:

— Вот, разве в таком виде на танцы пойдешь...

Через неделю, окончив монтаж буровой, Николай Драцкий вернулся в Березово. Когда своей стремительной, мальчишеской походкой он вошел в контору бурения, его обступили с жадным любопытством — о знаменитом рейсе знали уже все.

— Расскажи хоть, как было?

— Обыкновенно. Шли, шли — и пришли. В следующий раз лучше пойдём.

— А, Николай! Поздравляю, — выйдя из своего фанерного кабинета, Александр Григорьевич Быстрицкий дружелюбно пожал ему руку. — Ну, теперь твоя душенька довольна? Больше не будешь приставать?

Драцкий хитро прищурился, привычным жестом распрямляя брови:

— Завелась одна мыслишка...

Быстрицкий красноречиво развел руками, приглашая остальных разделить его притворное возмущение. Прощай, спокойная жизнь. Драцкий приехал. Давно не снился...

И, уже широко улыбаясь, обнял Николая за плечи.

И. ЕРМАКОВ  
У АБАТСКИХ ДРУЗЕЙ

Почин

Золотая осень! Бывает она и в наших краях золотая. Радужные осинки «поджигают» с околиц леса, рдяно полыхают ягодой заросли шиповника; молодой утренничек до ярой меди накаляет листву берез.

И от всего блеск. Блестит свежеподнятый, отглаженный зеркальным лемехом пласт, сияет выхолненным пером грач, сверкает летящая паутинка, даже стерня «зайчиков пускает».

Солнце позабыло на земле улыбку. «Прекрасная пора — очей очарованье!» Радуешь ты поэта и хлебороба.

Но если небо по всему горизонту на целые недели закрывают низкие, набрякшие дождевой изморосью тучи, если по суткам не высыхает отяжелевшее птичье крыло, если день ото дня темнеют, ветшают и оседают на стерне валки пшеницы — чьи очи очаруешь ты, осень? Чьи, — ненастная, безрадостная, нудная...

Темны леса, темны стога, темна земля...

На полях грузнут тракторы, на токах — авралы. Отчаянно пробиваются по раскисшим проселкам парткомовские и обкомовские «газики».словно окалеченные журавли вышагивают по мокрому жнитву бригадиры, агрономы, управляющие.

«Был хлеб, был! Сами видели! В ладонях колоски ласкали, в тягучую жвачку зерно на зубок сгоняли...»

И вот зябнет он под нескончаемыми дождями, набухает, прорастает — может погибнуть.

Древний наш кормилец, хлеб!

Кормил ты и пахаря, и воина, и голубя, и мышку-амбарушку. «Телом Христовым» тебя наши пращуры звали. «Житом» — от слова жизнь. Старший в роду разрезал каравай. Сегодня «силой державной» тебя зовут. «Счастьем!», «Богатством!», «Ступенькой к изобилию». Кость, Жила, Румянец и Мускул народный — хлеб наш.

А между тем живут среди нас люди, которые прекрасно чувствуют себя в любую осень. Для одного хлеб — лишняя браконьерская утка, для другого — с басовитым жирным похрюком кабан, для третьего... впрочем, третий способен без угрызений совести выбросить полкаравая в мусорную яму. Остатки обильного стола. Не жал, не саял...

У автора этих строк имеется в биографии одна памятная «затрещина».

— Подай собаке хлеба! — приказал ему дед.

Шестилетний «автор» бросил под собачий нос ломоть хлеба и в то же мгновение жесткая ладонь предка опустилась на неокрепший его затылок. Распростершись ниц, «автор» выслушивал первого своего сурового критика:

— Я сказал: «Подай!». А ты что сделал? Ты бросил! Грех хлеб бросать...

Я знал деда еще на протяжении тридцати лет. Ни разу я его не видел перед иконами, ни разу он не осенил себя крестом, но я сотни раз видел, как ласкал он темным взглядом ржаную, на капустном листе испеченную корочку, как сметал он в дрожашую от старости ладонь потерянную на обеденном столе крошку мякиша. И не от скудности или жадности — сибирские черноземы щедры — в характере это народном — благоговейно и свято чтить хлеб.

Старые раны, говорят, вспоминают с усмешкой. Но вот недавно я получил свежую затрещину. На этот раз от «бабушки». От Надежды Григорьевны Заглады. Только это была «массовая» затрещина. Многим она адресована. И верхогляду-корреспонденту, и нерадивому механику, не отремонтировавшему, а «оттяп-ляпавшему» технику, и прекраснородушному («у бога — дней много») бригадиру, и шустрому («буйить исполнено») подшивателю директив, и «бдящему» на номенклатурном телефоне («нам сверху видно все») кабинетному рыцарю, и поучающему (сам ни уха, ни рыла) выскочке, и всем тем, кто ленится или не хочет «стебелек довести до ума». Дерись мы, стыдись мы каждый за свой «стебелек», может быть, и не пришлось бы нам с такой злой тоской глядеть на помертвевшие поля.

Кое-где вытаскивается на свет обветшавшая поговорочка: «бога-де, не переспоришь». А ты спорил ли с ним, друже? Пробовал ли? Не в картишки ли в это время «сражался»?

...Человек в промасленной спецовке грозит кулаком небу. Он рвет на себя ремень «пускача», и горячий живой дымок окутывает машину. Человек стискивает штурвал...

«Прими его, поле! Он — твой сотворитель, он — твой дозорный, а ты — его боль».

\* \* \*

В эти дни напряженной битвы за трудный сибирский хлеб и родился патриотический почин доярок Абатской фермы. Обращаясь к своим подругам, они писали в межрайонной газете «Сельская новь»:

«...Недалек тот день, когда скот будет переведен на стойловое содержание. Но в совхозе еще не закончена уборка зерновых, надо пахать зябь, убирать и силосовать кукурузу, на очереди уборка картофеля и сахарной свеклы. А рабочей силы не хватает.

...Мы решили сами подготовить к зиме свой коровник... Сделаем все, чтобы нашим коровушкам было тепло и просторно, чтобы они и зимой давали нам много молока...»

«Вставайте в наши ряды!» — призывали абатские доярки своих подруг. Обращение подписала вся бригада. Последней шла подпись бригадира Зинаиды Коневой.

Ценное это качество в руководителе — уметь заглядывать хоть чуть-чутьочку подальше сегодняшней «текущей» кампании. И как еще часто его не хватает многим нашим хозяйственникам. «Хлеб режет!» — вопит один. «На рядках сплю!» — бьет себя в грудь другой. А третий всеми богами клянется, что «месяц в бане не бывал, жену не обнимал». И всему этому можно поверить.

Я разыскивал управляющего Абатской фермой Фалькова. В пять часов утра мне в конторе отвечали: «Уехал. На полях или на току ищите». Уже поздним вечером случайно я встретил его у центрифуги лаборатории маслозавода. Проверял жирность. Отсюда семикилометровый путь домой да еще надо на ток завернуть. Действительно, не разоспишься.

— Знато бы дело — летом им (дояркам) глины да моху завез, — скребет Фальков в затылке. — Тогда и день длиннее был, — вспоминает он, — и стадо ближе к ферме стояло, и теплень...

Все условия были, не было одного — загляда в будущее. Кстати сказать, Фалькова заел-таки хлеб. Даже «козлы» дояркам сделаны не были. Мазали стены, стоя на кормушках, на одной ножке, «с изворотом». Но все это было потом, а вначале почину гадила погода. Дожди, дожди... Бригада по три раза в день ездила за 9 километров на дойку. Ежедневный прогреб — 54 километра. А дороги такие, что трактор «Беларусь» буксовал. Дояркам не оставалось времени не только на ремонт коровника, но некогда было обед сварить, детишкам штанишки постирать.

Для тех, кто не выполнил своего обязательства или попытался бы от него отлынивать, все вышесказанное послужило бы веским оправданием. Но не таковы люди в бригаде Зинаиды Коневой.

\* \* \*

Разыскиваю бригадира Коневу. Мне нужно договориться с ней о выступлении в страничке «Устного журнала». Не застав ее у «доярчьего домика», направляюсь к ней домой.

Что я знаю о Коневой? Знаю, что бригадиром животноводства она работает 11 лет. Из них 5 лет на этой ферме. Образование у нее небольшое — 5 классов. Коммунистка. В бригаде ее зовут Зиной. Все пока.

Меня встречает средних лет женщина. В меру полная, в меру синеглазая. Только вот, пожалуй, загорелая не в меру. Выдают тоненькие лучики морщинок вокруг глаз: их меньше достигало солнышко и они, не в пример щекам и носу, являют некоторый намек на первозданный цвет лица хозяйки.

Знакомимся. Усаживаюсь.

Услышав, что ее приглашают «выступить», Зинаида Гавриловна заотмахивалась, как говорят, обеими руками:

— Мне легче три группы коров подоить, чем такое дело!

— Нужно! — настаиваю я. — В Абатске собрались культпросветработники зоны — послушают вас — своим дояркам ваше слово понесут. Запевала подголосками красен, а одна ласточка — не ласточка.

— Не сумею, — смущается Зинаида Гавриловна.

— Давайте пробовать, — не отступаю я.

— И вот что я в тот раз записал:

«Наше абатское животноводство иной бы житель век не обошел, а вот убегают. Одних техник в райцентре дюжинами считать. А кроме них, секретарши, машинистки, телефонистки, почтальонки... Кругом организации — вот и соблазняются. А

наша бригада месяц уж работает без выходных дней. Заболела подменная доярка и во всем Абатске мы не найдем ей замену...

...Видим, не на кого нам надеяться. Поля да тока с нынешней погодой не скоро еще народ отпустят, а там холода подо- стигнут — самим надо. Ну, собрались бригадой, посоветова- лись — так рассудили: печи мы, конечно, не переложим, где которая балка осела — не подтянем, но что в наших женских силах — сделаем. Щелеватые пазы промшить можем? Можем! Обмазать, побелить коровник изнутри можем? Можем. Окна, двери утеплить, на потолки подсыпать, кормушки помыть, по- белить — все это нам, женщинам — не на выучку идти. Ну и... делаем. Можете навестить, посмотреть».

Прошу Зинаиду Гавриловну рассказать о людях ее бригады.

— О людях? Пожалуйста. Вот, к примеру, доярка Самоль- янова Парасковья... Замечательная труженица. Никакой работы не страшится. Одна троих детей воспитывает и с Доски почета не сходит. В прошлом году в Москву на выставку ездила. Не- давно в партию ее приняли. За 8 месяцев этого года 1872 ки- лограмма от коровы надоила. С жильем только у нее плохо: изба — развалюшка, крыша течет. Ныть она не привыкла, а ад- министрация наша не понимает доброго работника поддер- жать.

Зинаида Гавриловна называет имя 55-летней доярки Марии Степановны Туруновой.

— С весны группу первотелок приняла и так раздоила их, что сейчас они вровень с остальным стадом по надоям идут...

И еще одно имя.

— У нас ведь, что ни доярка, то и «невеста». Тете Нюре Зеленковой, например, 50 лет. Из них двадцать лет про- доила...

Обязательно встречусь с тетей Нюрой и с Туруновой Мари- ей Степановной. Я неравнодушен к старым дояркам — мне хо- чется сотворить им памятник. Когда я слышу, что на орбиту вышел новый «Восток», гордый озноб обжигает меня. «Еще один парень, вскормленный, вспоенный русским молоком, ри- нулся штурмовать Вселенную. И хочется видеть где-то на пье- дестале, на одном камне с героической шестеркой, ее — старую доярку. Протягивает этим ребятам она кринку молока: «Испей- те, сынки! Холодненькое! Земное!..»

Зинаида Гавриловна называет имена Васильевой Раисы, Пушкаревой Анны, Пушкаревой Зои, Склюевой Нины и самой молоденькой Хомич Таисии.

«Пастухи молодняка Рябков Алексей и Морозов Иван Ива-

нович, получили за август месяц по 1030 граммов ежедневного привеса на голову», записываю я себе...

Кого не называет Зинаида Гавриловна, о каждом она находит теплое хорошее слово. Люди, конечно, не без недостатков. Но главное, что все они труженики. И труженики, как видите, не за страх, не за копейку, а за совесть.

В конце нашей беседы к бригадиру зашла доярка получить спецовку — сапоги. Долго она перебирала «пары», стараясь найти по ноге. Наконец, выбрала — голенище в голенище засовывает. Так удобнее нести.

— А ты бы, Ксения, все-таки размером побольше взяла, — предлагает ей Зинаида Гавриловна. — Возьми вот эти! У тебя ведь мозоль...

Теплая душа, коммунист, Зинаида Конева! Да! Так и надо жить: чужая мозоль — твоя боль. Не зря тебя люди запросто ласково Зиной зовут.

\* \* \*

— Чудеса, да и только! — удивляется бригадир животноводства. — Я уж у них и ночную пастьбу не раз проверяла, и по отдельности с каждым беседовала, — не пойму, где собака зарыта...

Речь идет о пастухах фермы. Пасет Барыкин Николай — удои выше, сменяет его Гостюхин Петр — бранятся доярки. Опять каждая недосчитывает в своих флягах по 8—10 килограммов против вчерашнего надоя. Одно стадо, одни выпаса, а результаты разные! В чем дело?

Беседую с Николаем Барыкиным. Чуть повыше среднего роста, загорелый, с отбеленными на летнем солнышке бровями, в пиджаке, перешитом из армейской шинели, он чуть смущенно улыбается и усиленно (спина прогибается) начинает оглаживать своего помощника — собаку Шарика.

Это я давно замечал: таежным охотникам, пограничникам, пастухам «легче» разговаривается, когда у них на коленях покоится собачья голова. Гладишь уши — одно вспомнится, потрогаешь черный холодный сургучик носа — другое. Вроде памятные узелки развязываешь. Вот и сейчас... Шарик преданно заглядывает в глаза своему повелителю, метет хвостом — рад пс неожиданной хозяйской ласке.

— Гостюхин ведь постарше вас, — говорю я, — побольше у него, должно быть, опыта, сноровки... Почему же в день его дежурства, как правило, снижаются надои?

Николай отживил с Шариковой глотки клеща и не торопясь заговорил:

— Вот как раз и не так... Он по годам только старше меня, а по пастушескому стажу — я старше. С 1937 года за стадом хожу. Мальчишкой отцу помогал, а теперь вот десять сезонов сам пасу.

...Пастушеский сезон! Пчела берет мед, корова — молоко. Дешевое! Подножное! Наливаются румянцем щеки малышей, хорошеют девушки, язвенники желудка реже употребляют соду. Суметь взять в это благодатное время как можно больше молока — дело чести каждого пастуха. Дело чести каждого, да не каждый умеет, не каждый берет. Меня в данном случае интересуют Барыкин и Гостюхин.

— Мне что ночью, что днем пасти, — продолжает Николай. — Я ведь на выпасах каждый куст знаю, каждую канавку, коряжину. Где какая трава растет, которую еланку для первого аппетита коровам скормить, которую — на закуску. А молочко-то идет! Она только с виду наша работа простая... Сел, мол на коня, материться научился — и вся тут премудрость. Не-е-ет!

В этом протяжном «Не-е-ет» мне чудятся целые тайники ценных приметок, живого практического опыта, не из книг, вычитанных, а глазами, слухом, ощупью выверенных познаний. Внимательней прежнего я всматриваюсь в глаза этого человека.

— Коля! Помоги корову в станок загнать! — просит Барыкина молодая доярка.

Николай прерывает беседу и направляется к стаду. Возвращается он нескоро. После Шалуни помогает завести в станок Чудачку, затем рослую чернопеструю корову, которую он рекомендует, как «вожака стада».

Возобновляется наш разговор.

— Гостюхин — он с виду тоже «ровно» пасет. Мне даже не сказать конкретно, где он допускает промашку. Совесть разве? Капельку с посошка роняет...

«Капелька совести»... Не успел я вникнуть в простой и в то же время глубокий смысл этих слов, как Николай безмятежно улыбнулся и огласил вдруг:

— На нашей работе непривычному со скуки засохнуть можно!

— А что?.. Скучаете? — нахожу я вопрос.

— Я-то нет! — задорно отзывается он. — Коров сто голов да собака... Разговору находится. А тут, глядишь, утка утят к озеру вразвалочку ведет, за журавлятами погоняешься. А то зайчонка поймает — ушки ему приголубишь. К этому еще Рыжка, конь мой, меня распотешит.

— Это как же? — спрашиваю.

В ответ улыбается. Самая пора задать моему собеседнику один щекотливый вопрос:

— Есть слухок, что с бригадиром вы не всегда ладите? Споры у вас случаются, а иногда и недобрым словечком ее обласкаете.

— Так ведь живые же люди! — по-озорному весело отзывается Барыкин. — Иногда я неправ, а бывает и она. А спорить надо! Спор — дело государственное!

Я вновь ловлю негазетный афоризм: «Спор — дело государственное». А Николай сводит в лукавые щелочки глаза и улыбается.

Неподалеку над камышами то и дело вспыхивают синие дымки. Это досужие охотники, окружив озерину, бьют уток. Мечутся под частыми выстрелами одичалые выводки пернатых.

— Губят птицу, — кивает в сторону дымков Николай. — Которую наповал, то возьмут... А подранки в камышах погибают. Бессабашники...

— Бессабашные, что ли?

— Я-то сказал к тому, что без собак охотятся, но можно и по-вашему понимать, — сплевывает в сторону камышей Николай.

Дойка окончена. Николай поднимает стадо.

— Вставай, Румянка! Подъем, Рюмка! Подъ-е-ем! На солонцы вас поведу.

«Не погоню», а «поведу», — помечаю я себе в блокноте.

По дороге беседую с доярками и все больше верю, что за стадом ходит не равнодушный, холодный «работяга», интересы которого чаще всего кончаются на платежной ведомости, а человек, влюбленный в свое дело, живущий горячими заботами сегодняшнего дня, умеющий заглянуть и в завтра.

...«У нее же нервы»... «Спор — дело государственное»... «Капельку совести с посошка роняет...»

Волшебный пастуший посошок?!

Хорошо, очень хорошо, когда его держат в своих горячих, заботливых и совестливых руках такие люди, как Николай Барыкин.

\* \* \*

А ну-ка, девушки!

Так называлась страничка «Устного журнала», в которой предстояло выступить Зинаиде Гавриловне Коневой. В зрительном зале Абатского Дома культуры, кроме работников

культпросветучреждений зоны, собрались полеводы и животноводы Абатской фермы. В простенках и на колоннах развешены «Листки почета». На одном из них текст:

«Бригада товарища Коневой успешно выполняет взятое обязательство по ремонту животноводческих помещений. Сделайте почин абатских доярок достоянием каждой бригады!»

На другом стихи:

Мы славить рады заново,  
Родную нам и близкую,  
Парасковью Самольянову,  
Доярку, коммунистку!  
И деды, что творог жуют,  
И детвора румяная,  
Сегодня Вам спасибо шлют  
Товарищ Самольянова!

В зале раздаются нетерпеливые хлопки. «Минуточку терпения, товарищи. Мы ждем героев сегодняшней странички. Это для них, для доярок бригады Коневой, забронированы передние два ряда. Много? А вдруг с мужьями придут, с мамами? Да вот они и герои наши. Надушенные. Принаряженные. Садитесь! Милости просим!»

Многое, о чем говорила в своей «страничке» Зинаида Конева, я читателю пересказал. Но вот как работники учреждений культуры получили по «затрещине»... Впрочем, слово Зинаиде Гавриловне.

— ...Мы призывали следовать нашему примеру своих подруг — доярок. Но разве одни доярки должны готовиться к зиме? А работники культуры? Нам коровники — вам клубы и библиотеки. Нас девяттеро, а в Абатском Доме культуры штат двенадцать человек. С такими силами да «дядю» просить?! Думаю, сами сможете. Поясница не переломится, а народ спасибо скажет.

— Воистину не переломится! — гроыхнул чей-то бас из фойе.

Смех, оживление...

— Завтра вы возвратитесь домой, — продолжала Зинаида Гавриловна, обращаясь к культпросветработникам. — Расскажите вашим дояркам и животноводам о нашем почине. Так и скажите с моих слов: «А ну-ка, девушки! Вместе! Дружно! Доброе дело сделаем, подружки».

Зинаида Гавриловна под аплодисменты зала сошла на свое место. Начался концерт.

А типографские машины территориальной газеты оттискивали в этот час радостное сообщение: «Почин абатских доярок

подхвачен животноводами Ловцовской фермы Сладковского совхоза...» Вскипают роднички трудовой совести.

..Не смолкая рокочут на полях тракторы. Зябь! Зябь! Еще стоит на корню кукуруза. В земле еще свекла и картофель. Как никогда дорога сегодня каждая пара рабочих рук! Идет нелегкий бой за грядущее изобилие. И хочется, чтобы призыв бригады Зинаиды Коневой был услышан всеми доярками области. «Все, что в наших женских силах, — сделаем сами!»

А ну-ка, девушки!

### Полюбите цветы

В одном из пунктов повести для совещания работников учреждений культуры Абатской территориальной зоны было записано: «Экскурсия в цветник Е. П. Одеговой».

Кто не знает в Абатске Ефросинью Петровну! Детворе она известна, как бабушка, «у которой цветы», интеллигенция райцентра называет ее энтузиасткой, в отделе социального обеспечения она числится пенсионеркой, в парткоме — она на учете, как старая коммунистка.

Редкое торжество обходится в районе без цветов Ефросиньи Петровны. Дни рождения, свадьбы, встречи знатных земляков, чествования лучших людей, первый букетик первой учительнице, — если бы сосчитать все руки, в которых красовались цветы, выращенные Ефросиньей Петровной! 205 сортов насчитывалось в ее цветнике нынешней осенью. Георгины, гладиолусы, лилии, гвоздики, левкой, циннии, астры, кактусы — и «несть им числа». Адрес Ефросиньи Петровны знают цветоводы Прибалтики, Азербайджана, стран народной демократии. Они переписываются с Ефросиньей Петровной, обмениваются семенами, луковицами.

Есть у нее мечта. Красивая мечта! Она при жизни хочет видеть свой родной Абатск утопающим в зелени и цветах. Она — член комиссии по озеленению и украшению райцентра.

Но вернемся к нашей экскурсии.

Дружной оживленной ватагой мы направляемся в цветник Ефросиньи Петровны Одеговой. Хозяйка ждет нас. Цветы тоже. Их осталось немного — осень, но есть еще от чего «разбежаться глазам».

Георгины! Какие только имена они носят! «Чайковский», «Маяковский», «Гагарин» — что ни куст, то и знаменитость. Ефросинья Петровна пытлива и, я бы даже сказал, с некоторой мудрой лукавинкой всматривается в лица и одежды наших экскурсантов. Заведующему Маслянским отделом культуры Крюкову она дарит лилейной белизны георгин:

— Вы беленький и он беленький!

Директор областного Дома народного творчества Федор Григорьевич Колмогоров под общий смех всех присутствующих награждается махрово-рыжим георгином сорта «леший».

— Вот правильно! Вот правильно! — заприплясывал между грядок веселый наш «шеф». — Леший! Это же моя мечта! Доживу до пенсии — и в лес. Грибы собирать! Спасибо, Ефросинья Петровна!

Хозяйка довольно смеется.

По всему цветнику звучат голоса.

— Вот бы возле каждого клуба такую красоту развести! — слышится в одном углу.

— А если возле каждого дома?!

Не Сибирь бы была, а... невеста.

— Точно! И в соболях, и в цветах!

Девушки более практичны. Они стайкой окружили Ефросинью Петровну — договариваются о семенах.

В калитку между тем вступает новая партия экскурсантов. Девочки-пионерки.

— Здесь живет «бабушка, у которой цветы?»

— Здесь, девочки, здесь. На сибирской нашей земле.

Вечером Ефросинья Петровна в районном Доме культуры выступала со страничкой «цветного журнала» — «Полюбите цветы».

— Я сироткой росла, — начала она свой рассказ. — Корочка хлеба не всегда была, не то что игрушки. Убегу на лужок, насобираю всяких цветочков и играю. Радость они моя — с самых маленьких лет...

— Полюбите цветы! Не отнимайте у души праздника, — закончила свое выступление женщина.

\* \*

«Радость они моя — с самых маленьких лет»... Мне вспомнился рассказ моего товарища про свою дочурку. Было ей тогда три с половиной года.

Жила она с бабушкой в городе. Бабушка имела небольшой, в несколько грядок, приусадебный участок. На грядках росли помидоры, капуста, а для внучкиного лакомства — морковка и небольшая полоска гороха. Помидоры цветут скупой желтоватой метелочкой. Капуста и морковка вовсе не цветут. Самой «завывистой» и радостной грядочкой для девочки оказалась гороховая полоска. На ней однажды, солнечным утром, начали вспы-

хивать белые, сиреневые, розоватые и фиолетовые флажки. Девочка назвала их «голохами» (буква «р» не выговаривалась).

Каждое утро внучка просила бабушку показать ей «голохи». Потом приехал папа...

Однажды он усадил свою дочку в красивую машину и они поехали за город — в поле, в леса...

Бывают такие полянки... Ахнул кто-то высокий и сильный обухом по радуге — и рассыпалась она, многоцветная, на мелкие скляночки. Причудливыми огоньками полыхают эти несчетные «скляночки» на зеленом ковре разнотравья: «Остановись, человек! Удивись! Вдохни!».

Девочка радостной птичкой, с восторженным кличем: — «Голохи! Голохи!» — кинулась в объятия радужной полянки. Нет, она не срывала цветы, она ласкала их в маленьких ладошках, прижимала к раскрасневшейся щечке, — две дырочки в носу впили в себя сладкие, волнующие запахи.

— Голохи! Голохи! — лепетала она.

Жужжали пчелы, порхали бабочки, басовито гудели шмели...

Вечером, засыпая на папиной руке, она спрашивала:

— Папа, а ты любишь голохи?

— Люблю, девочка...

— Я тоже люблю...

Паутинка-дрема смеживает веки. Тоненькая. Чуткая... И вот она снова перед глазами, радостная радужная полянка.

— Папа... а почему я люблю голохи?

— Потому что ты когда-то была мотыльком. Видела сегодня мотыльков?

— А пчелкой я была?

— И пчелкой была.

Паутинка — дрема склеивает ресницы. Сны... Утром девочка рассказывает папе, как она была мотыльком и пчелкой. И не когда-то давно, а только что... Сейчас вот!

Цветы и дети... Первозданная «игрушка» из мастерской солнышка и трепетная ребячья ручонка!

Сполохи вечно юной природы и девчонкины изумленные глаза... Понаблюдайте за вашими «маленькими», за их первым путешествием в мир истинно прекрасного, и вам не покажется странным «папино» утверждение, что дети когда-то были «мотыльками» и «пчелками».

\* \* \*

На улицах деревеньки, не совсем степной (лес в 15—20 километрах) бушуют пыльные бури. Реденькие деревья в редких

палисадниках гнутся и трепещут под ветром, обнажая серебристый испод листвы.

Перед окнами одного дома я заметил мальчугана с лопатой в руках. Он сажал деревце — тополек. Мы разговорились. Малыш оказался любителем сказок, а сказки, оказывается, «живут в лесах». А прозаики, оказывается иногда пишут стихи.

### Зеленая бль

Мой герой? Он и «дважды пять»  
Не постиг, он на «ты» с игрушкой.  
Он из тех, что ложатся спать  
С «Мойдодырами» под подушкой.  
Но сейчас до бровей в пыли,  
Ветром высеченный неласковым,  
На кусочке родной земли  
Сам себе сочиняет сказку он.  
Лепетливый зеленый лес  
Нужен мальчику позарез;  
Там под белой березкой спят  
Заяц-хвоста и семь козлят.  
По ночам там до самых звезд  
Распускает жар-птица хвост,  
Воевода — сибирский кот  
На пенечке лисичку ждет.  
Без числа там и нор и гнезд,  
Там живет и сова и дрозд.  
Не кончает синичка петь,  
По малинку бредет медведь.  
... Коль без сказки нельзя прожить —  
Надо сказку самим сложить:  
Взять лопату — и будет «лес».  
Тополек твой... страна чудес.

Милый мой человечек, загодя влюбленный в птичий щебет, в дыхание зверево! Знал бы ты, как красив ты сейчас, чумазный мой! Вечером будут саднеть маленькие твои ладони, обозначится на них первый слой мозольков, а тополек твой, тонкой чуткой ворсинкой разыщет живительный сок земли, вздрогнет и начнет расти. Ты загодя сочинил свою «сказку», малыш... Ты уже сегодня богаче многих нас. У тебя есть свой тополек. Зеленый. Листья по чайному блюдцу выметывать он будет. Пушить начнет — на полдеревни пороши наделает. Посреди России стоит. Ты ему дал жизнь и не отдашь врагу...

Начал я с «бабушки, у которой цветы», а пишу о детях. Я вижу их, ясноглазых моих соавторов, и верю, что они с их непосредственностью, с их чистыми неосознанными еще порывами к красоте вернее и действеннее найдут путь к тысячам сердец, чем это делает автор.

Вижу их, картавых агитаторов, взобравшимися на колени трактористов, телефонисток, пастухов, бухгалтеров, хирургов: я знаю, о чем они будут просить, на что намекать.

— Папа! Посади мне под окном «сказку»!

— Мама! Ведь ты тоже когда-то была мотыльком... Забыла разве?

И... не отнимайте у ребячьей и своей души праздника.

### Флаг пламенеет

С печи, кряхтя и оберегая суставы, слезает семидесятилетний Калнагоров Федор Прокопьевич.

Вопрос был задан ранее, сейчас Федор Прокопьевич отвечает:

— И дед здесь родился, и прадед, а дальше не скажу, не знаю. По рассказам помню, что леса у нас тут прямо за огородами стояли. От зайцев заклатья не было. Ягоду мешками сушили.

— А не скажете, Федор Прокопьевич, почему деревня «Кокуйской» зовется.

Наш собеседник оглаживает широкую, с прожелтью и прозеленью, седую бороду, шевелит жесткими ежиками бровей и чуть поразмыслив, отвечает:

— Шли три мужика — Ключов, Викулов да Клишев. Шли те мужики, землю глядели — место себе для поселения выбирали. Присели будто бы чайку согреть, а тут им и скукуй кукушка! Ключов, Викулов да Клишев говорят: «Шабаш, мужики! Селимся здесь! Кукушка на неурожайном месте куковать не будет!» И стало ихнее поселение называться Кокуйским. Почему у нас сейчас что ни двор, то и Клишевы, что ни второй — то и Ключовы... От них пошли.

Клишев Иван Тимофеевич, вероятный потомок того былинного Клишева, которому «кукушка скуковала», вспоминает:

— Дед рассказывал: худо им, первым поселенцам было! Породнились эти три семьи и получились в поколении все сродные братья да сестры. За кого замуж выходить? На ком жениться? Царице по этому вопросу даже докладную писали...

Легенды или отзвуки былого?

— А Викулову-то, рассказывают, вершник в малахае глаз стрелой выбил.

Вот это похоже на правду. Трудно доставались сибирские черноземы первым русским переселенцам. Пахарь был воином, воин — пахарем.

«... В деревне Кокуйской имеется крепость, вокруг обнесена рогатками, а рву и надолб нет... А жителей в ней 22 человека». Эти строки взяты из воеводского донесения елизаветинскому генералу Киндерману, который ввиду ожидавшегося набега кочевников, с двумя пехотными и тремя драгунскими полками в 1745 году был направлен царицей в Сибирь.

Под постоянной угрозой внезапного нашествия кочевников провел свою первую борозду по сибирской земле русский человек.

Сейчас деревню «Кокуйскую» зовут просто Кокуй, а в официальных документах именуют: «Кокуйское отделение Абатского совхоза».

\* \* \*

Перелески да пашни, озерки да болотца. Маячат неподалеку от большака курганы. «Хоронило войско своего предводителя. Каждый воин обязан был высыпать на его могилу малахай земли. Малахай по малахаю — и выросал курган». «Не так, Кузьма Ильич! Для дозору они тут насыпались курганы эти, для дозору местности».

Это я вспоминаю вчерашний горячий спор двух доморощенных историков.

«Газик» ведет секретарь парткома Абатского совхоза Дмитрий Михайлович Колмаков. Маршрут — полевой стан Кокуйской тракторной бригады. Здесь в этом году впервые применили групповой метод работы тракторов. Крупные массивы весновспашки поднимаются за день, за два и готовы следом принять семена. Сохраняется влага, сосредоточиваются в одном месте средства техпомощи, улучшается быт механизаторов. Более оперативным и действенным становится руководство.

Каждый тракторист пашет свою «загонку». Механизаторы видят друг друга, слышат гул соседнего трактора. Соревнование становится живым, зримым, задорным. И количество, и качество — все наглядно.

В прошлом году кокуйцы перекрыли плановую урожайность совхоза на два центнера. Дополнительная оплата в размере 20 процентов сезонного заработка была вознаграждением за их добросовестный труд. Они на опыте убедились, что не погоня за гектарами в ущерб качеству дает заработок, а добрая обработка земли. С землей надо быть честным, и тогда она тебя отблагодарит. Бухгалтерию обмануть можно — землю не обманешь.

Вдали показался вагончик. Струится над ним на весеннем ветру алый флаг. Флаг необычный — флаг-рапорт. За километр в округе каждый видит: «Вчерашнее задание бригадой выполнено».

Ну, а если наоборот? Если не выполнено? На этот случай припасен синий... Но он пока не у дел. «Мы его Организации Объединенных Наций подарим», — шутят механизаторы. Стены вагончика пестрят плакатами: «Тракторист, знай!...» «Механизатор, помни!...» На самом видном месте висит пятидневное задание бригады и агрегатов, рядом — условия соцсоревнования на севе, а в переднем углу развернуто переходящее Красное знамя тракторных бригад совхоза. С начала сева держат его кокуйцы, собираются держать до конца.

Разговариваем с бригадиром Гостюхиным Романом Ивановичем. Замечаю, с какого бы пунктика он ни начал свое повествование, обязательно подведет его к вопросу об отношениях с Абатским отделением «Сельхозтехники».

— Мы сутками сеем, пашем, а у них после четырех часов дня склад закрыт. Из-за пустяковых деталей простаивают тракторы.

Упрек справедливый. Абатское отделение «Сельхозтехники» из-за своей неразворотливости, производственной неряшливости давно уже сделалось среди механизаторов «притчей во языцех». Отремонтированные там тракторы на полдороге к хозяйствам ломаются. Чтобы получить со склада деталь, нужно собрать несколько подписей и потерять рабочий день.

— Неужели нельзя упростить? — спрашивает не на шутку обзленный Гостюхин.

Наш разговор заглушает недалекий рев мотора. В приоткрытую дверцу вагончика я вдруг вижу... самоходный комбайн.

«А ты-то, приятель, зачем на сев пожаловал?»

\* \* \*

Прослужил парень четыре года в войсках и после демобилизации вернулся в родной колхоз. В 1961 году колхоз вошел в состав вновь организованного Абатского совхоза. Шла уборка. На щит славы поднимались одни за другими имена передовых комбайнеров. Когда же стали сводить окончательные показатели, неожиданно для всех прозвучало имя Михаила Шихова. Скромный, трудолюбивый комбайнер дал, оказывается, наивысшую выработку.

Суровая непогожая осень 1962 года. Михаил забывает о сне, о еде, урывает у погоды каждую благоприятную минуточку. Верный СК-3 безотказен. В результате скошено и подобрано хлебов с площади 1400 гектаров.

На мостике комбайна, явившегося на сев, стоит он — Михаил Шихов.

Он не высок, не крикост и не широкоплеч. К тому же и не разговорчив. Запыленное его лицо по-юношески застенчиво. Глаза серьезные, строгие.

— Зачем пожаловал сюда?

Смотрите.

Шихов включает скорость, и наклонная камера комбайна, к которой прикреплен самодельный полутораметровой ширины ковш, погружается в ворох зерна. На металлических планках плавающего транспортера через три на четвертую прикреплены прорезиненные ремни. Ремень своей кромкой несколько выступает с наружной стороны планки, и зерно, таким образом, загребается не железом, а «нежно, ласково» прогоняется внутрь комбайна прорезиненной тканью.

Ворох зерна на глазах убывает. Проходит 9 минут и бункер 18-центнеровой емкости полон. Но это еще не все.

Известно, что опудривание семян суперфосфатом дает прибавку урожая в 2—3 центнера с гектара. Взглянем на комбайн Михаила Шихова с правой стороны. Здесь на системе угольников и откосов закреплена банка растениеметателя от культиватора КОН — 2,8. Банка заполнена суперфосфатом, который через семяпровод поступает в зерновой шнек и опудривает там семена.

Таким образом комбайн Михаила Шихова за 9 минут не только нагружается, но и попутно опудривает семена. Две операции одновременно!

Однако и это еще не все.

Нагрузившись, комбайн направляется к посевному агрегату. Откидываются крышки сеялок, и из бункера комбайна через брезентовый рукав мощной струей течет зерно. Шесть минут, и три сеялки засыпаны. А ведь еще в прошлом году агрегаты под засыпкой простаивали по двадцать — тридцать минут.

«Горбом да пупом эту операцию производили», вспоминают сеяльщики.

Экономисты совхоза сделали некоторые предварительные расчеты. При засыпке сеялок комбайном времени затрачивается в 6 раз меньше, производительность увеличивается в 6 раз, финансовые затраты уменьшаются почти в 3 раза, и, конечно же, высвобождаются люди.

Разработкой описанных приспособлений при самом деятельном и подлинно творческом участии комбайнеров Михаила Шихова и Ивана Зыкова руководил механик по сельхозмашинам Александрович.

Могут сказать: «А не получится ли тут... палка о двух концах? Не погробят ли абатцы комбайны?»

На это Александрович уверенно отвечает:

— Наоборот! Будут обкатаны моторы, проверены крепления, отрегулированы подшипники. Это им своеобразный экзамен.

\* \* \*

«Она, как парнишка, росла. И возчиком на конях работала, и верхом ездил. Бедо-о-овая!»

Нина Волкова единственная в совхозе трактористка. Работает она всего второй сезон, но старшие механизаторы зря слова не скажут:

«Любит технику. Зимой на дробилку пошла. Нашего куста ягодка!»

Сейчас «ягодка» на тракторе МТЗ-5 боронит залежь. Направляемся к ней.

Нина останавливает трактор, спрыгивает на землю. На ней — серого искусственного каракуля ушанка, сапоги, замасленная телогрейка и шаровары — чем, братцы, не механизатор? Толстый слой пыли не в силах скрыть девичий румянец. Удивительно курносое существо! Слово солнечных зайчики, сверкают в задорной улыбке зубы. Ровные. Маленькие.

Радостный и чуточку, изумленный, протягиваю Нине руку, — Здорово, парнище! Здорово, механизаторище!

Нина смеется.

— Сколько же вам лет, Нина?

— Пятнадцатого мая девятнадцать исполнится.

Краем глаза вижу, как секретарь парткома достает записную книжку и что-то заносит в нее. Потом понял...

Пятнадцатого мая Нине от имени рабочкома, парткома и администрации совхоза, прямо на пашне вручается подарок — часы «С днем рождения, Нина».

Девушка смущена, растрогана. Отсчитывают новенькие часики первые секунды ее двадцатой весны. А впереди — простор, простор... А впереди — труд, подвиг, счастье...

Кукушка, кукушка! Ты, когда прилетишь, насчитай ей, славной маленькой сибирской трактористке, сто лет радостной жизни.

\* \* \*

Обедали весело. После добрых трудов — добрый аппетит. Кто-то съел полмиски лапши и только тогда распознал, что она недосоленная. Все теснее и оживленнее становится в полевом

вагончике. Вот прибывает агрегат Анатолия Усламина. За «ведущим» идут «ведомые» — сеяльщики Яков Васильев, Александр Лузин, Николай Киселев. В прошлом году эта четверка засеяла 1525 гектаров, нынче собираются засеять 1600. Нередки дни, когда ребята делают чуть ли не по две нормы. Пообедав, закуривают. Курят с запасом, всласть. Кто-то задает вопрос:

— А верно, что механизаторам праздник сделают? День будто механизатора?

— Конечно, надо! — раздается взволнованный голос. — День строителя есть, День железнодорожника есть...

— А дня прицепщика нет... — перебивает его чей-то бас.

Хохот.

— Я... я на механизаторский всеобуч... Весной тоже трактор получу!..

— Да получишь, получишь! — успокаивает подростка бас. — Хитрое ли дело.

Ветер заворачивает с севера. Начинает побрызгивать холодный дождь. Сеяльщики надевают поверх ватников прорезиненные плащи и гуськом идут к агрегату. Нет, не в босоножках ты пришла к нам, нынешняя весна. С поздней талицей ты пришла, со снежком да заморозками, с непогодю.

Бригадир напутствует механизаторов пословицей:

— Сей, паря, в шубе — убирать будешь в рубашке!

Я не сразу постигаю простой и в тоже время глубокий смысл приведенной пословицы. «Сей... в шубе — убирать будешь в рубашке». Да ведь это же краткая формула сибирского земледелия!

Мы до сих пор рассуждаем о сроках сева, произносим об этом пространные речи, пишем трактаты, а Клюсов, Викулов да Клишев — те самые, которым «кукушка скуковала», бестрибунно и безгонорарно оставили потомкам чеканную истину: «Сей, паря, в шубе...» Спасибо, старики! Ваша пословица пригодится.

...Мы покидаем Кокуйскую краснознаменную. Гудят окрест тракторы. Над вагончиком на весеннем ветру струит свое алое пламя флаг. Он возвещает: «Вчерашнее задание выполнено. Будь готов выполнить сегодняшнее и завтрашнее!»

Ю. ШЕСТАЛОВ

### АЙ-ТЕРАНТИ

Над тайгой смеется ласковое весеннее солнце. Тает снег. Корни черными талыми глазами уже смотрят с крутого берега реки. Кое-где несмелыми горнастаями выбегают на поверхность первые ручейки. А сколько их там в глубине, под снегом! Сколько там жизни и движения!

Весна! Она с каждым днем все смелей и смелей входит в нашу таежную жизнь. И пусть еще приударит иногда мороз и холодок пройдет по сердцам, но солнце все выше и выше. Все звонче и звонче поют ручьи. Они сливаются, и уже шумною рекою бегут к Оби.

А там — раздолье. Широта и глубина. Спокойное и торжественное течение в будущее...

Рождается человек. Рождается безымянным. Потом дают ему имя. И оно растет вместе с ним. Если он плачет — кажется, имя его плачет, если смеется — кажется, и имя ярче северного сияния.

Ай-Теранти — Маленький Терентий. Почему к слову Теранти прибавили слово «Ай», слово «маленький»? Может быть, родители считали, что он, как они сами, будет маленьким, неприметным человеком? Ошиблись. Очень ошиблись. Ай-Теранти — человек большой. Пусть и вправду он ростом мал, но сердце у него крылатое. В глазах у него — лето теплое. Посмотрит — человеком почувствуешь себя...

Мы едем по одной весенней дороге. Нас греет одно солнце. Одна школа дала нам знания, одни люди в нас вдохнули силу.

Нас везет один добрый конь, одна дорога нас зовет вперед.

Мы росли по соседству в деревне Теги, и я помню детство Ай-Теранти. Матери его трудно было одной воспитывать детей. Но

на севере у нас все дети рано начинают трудовую жизнь. Он всплывает в моей памяти босоногим, маленьким рыбаком, в мокрых, дырявых штанах. У него не было, как у некоторых других ребят, своей лодки и ружья. Он просто помогал взрослым. И греб, и кидал невода, и ставил сети, и караулил на перелете уток... И тонул, наверное, он в ледяной воде, и дрожал под светом холодных звезд, как и другие дети севера.

Трудное было время. Пусть в годы войны не разрывались в снегах Сибири снаряды, но стужа пронизывала нас до сердец, и мы синели, голод мучил наши похудевшие тела, и мы казались желтыми. Несмотря ни на что, мы оказались живучими. Вместе с нашими всемогущими матерями, вместе с нашими отцами, сражавшимися где-то далеко с фашистами, мы выжили и победили.

Может быть, мы и не выросли бы, если бы не русская учительница. Если не было у нас матери — она заменяла ее. Если не было сестры — она заменяла ее. Если не было солнца — она заменяла его, и нам становилось светлей.

Наши матери и отцы умели читать лишь следы зверей, а она раскрыла нам глаза на другие следы — знания. Мы как-будто заново увидели мир — широкий и огромный, мудрый и противоречивый, удивляясь восторженно глядели в будущее, и летели окрыленные мечтой...

И вот сегодня мы вместе. Много лет не виделись. Ай-Теранти окончил Березовскую среднюю школу-интернат, ту же, что и я. Только тремя годами позже. Как и другие северяне, он мог поехать в институты Ленинграда, Новосибирска, Свердловска, но родная земля потянула его к себе.

Нет, он не мог уехать, не надышавшись простором родной Оби. Не мог он уехать, не закинув в величаво и медленно кружащиеся струи «плавную» сеть, где почти на середине реки качается бочка — конец сети. На нее ластятся чайки-хохотуньи. Они зовут в сеть и одетых в зубчатую броню богатырей-осетров, и бойких тупоголовых язей, и женственно нежных сырков. А дальше, где кончается «плавной песок», струи кружатся и тянется обрывистый берег с заводью. Там не только навечно сеть уйдет на дно, но и бревна пляшут и тонут, и лодки словно немеют перед страшным. Тут скорее надо снимать сеть. А в ней трепещет и переливается серебристой массой сырок. Нет, Ай-Теранти не сможет уехать, не насладившись вдоволь этим плеском, не ощутив всем телом северянина этого нежного трепета.

Пока лодка не заполнена до краев серебряным трепетом рыб, и жизнь кажется не полной. И потому человек, не чувствуя хо-

лода воды на руках, не чувствуя усталости, снова и снова бросает бочку в сияющую гладь Оби. И лодка... нет много лодок одна за другой поднимаются «вверх», и бочки, много бочек пляшут на ее поверхности. Много лодок, много бочек, много рыбаков. И рыбы потому наловленной много, и трепета человеческого на земле больше становится.

Наконец, лодка полна сиянием рыбы. Надо ее сдать государству, отвезти на плашкоут. Там молодая белокурая девушка принимает рыбу, как счастье. И рыбаки сдают добычу тоже, как счастье. И веселье льется там тоже, как счастье. Хорошо сдавать счастье!

Может ли Ай-Теранти уехать куда-нибудь, не сдав счастья и не получив счастья взамен?!

А чувствовали ли вы в полную силу усталость? Счастливую усталость. Как хорошо ступить на теплый песок после того, как сдал рыбу, счастье! Ступишь, и кажется усталость вся уходит в землю, а нежный и теплый от июльского солнца песок дарит тебе взамен новую силу, новую энергию, новое счастье. Прекраснейший момент обновления!..

Горит костер. Звезды падают на землю. Искры огня летят в небо. Лишь люди неизменно остаются у костра. Там их песни, сказки и тихий сердечный разговор. Там сердца поют, становятся богаче. Поработали за сутки вдосталь руки, наполнились усталостью и силой, нужна и работа сердца. И сердца раскрываются, сжимаются, дышат, поют и летят навстречу друг другу.

«Говорит» костер, говорят люди, «говорит» вечер, «говорит» уха...

Ай-Теранти подходит к костру. Очень вкусно пахнет уха. Но не с нее начинается вечерняя трапеза. В лодке есть живые стерляди. Нет, не думайте, что стерлядь—рыба грубая. Пусть она и колетса, когда возьмешь, ее в руки, пусть она одета в броню,— она нежна. Ай-Теранти берет острый нож и снимает шкуру стерляди. Он не вспомнит, конечно, что из этой шкурки в древности его предки шили себе одежду. Он не вспомнит об этом потому, что давно уже нет той древности. Сам Ай-Теранти ходит в узких брюках, сшитых на фабрике. Зато Ай-Теранти знает, что перед ухой надо поесть трепещущей живой рыбы. Так хочется. Так очень вкусно. Он не сможет уехать, не ощутив на своих губах рыбьей крови и нежного трепетного мяса стерляди. Он, конечно, привык к городской пище — пище, перетертой, пережаренной. Но этот трепет никогда не померкнет в нем, будет, может, лишь острее желание изведать оригинальный запах детства — детства его и народа.

А лес. Зимний лес. Тайга. Тишина. Таинственная тишина. Не вспорхнет ни одна снежинка. Сияет все под лучами большого зимнего солнца, выглядывающего одним глазом из-за белых шишек бесконечного леса. Сияют и кедры коренастые, и ели ракетоподобные, и сосны, в ветвях которых режутся белки...

Нет, он не безмолвный, этот лес. Ай-Теранти умеет его читать и слушать. Здесь нарисовал узоры горностаи, а тут сидел зайчик. Вот кто-то вспугнул его, и сердце заячье полетело, едва прикасались к снегу лапы.

В этих местах, снежных лунках, спали куропатки. Они встали совсем недавно: помет не успел еще замерзнуть. Они где-то совсем рядом, не в хвое конечно, а в кустах, на берегу маленькой лесной речки. А вот лисица за мышами бегала. Забежала мышь в снежную норку, а лисичка — копать. Покопала-покопала, чует, что живой дух зверька проветрился, побежала дальше искать.

Зимний лес. Сказочный лес, полный жизни и тайны. Не может Ай-Теранти куда-нибудь уехать, не поскользив вдоволь на широких лыжах по родному снегу, по родному лесу, не почуяв тайну, не услышав сказку, не вдохнув в себя жизнь. Не может вдаль он ехать!...

А мать? А колхоз? А родные люди?.. Без слов тут все понятно. Ай-Теранти едет в свой родной колхоз...

Родной колхоз. Кем он там будет? Конечно, рыбаком. А зимой — охотником. И будет лес валить, и на оленях ездить, и строителем он будет — все сумеют руки, все обнимет сердце!

А для чего, вы скажете, окончил десять классов! Для чего учился?

Как для чего? А кто лекции прочтет в колхозном клубе вечером? — Ай-Теранти. Недаром он учился. А кто проведет в бригаде беседу на тему дня? — Ай-Теранти...

Год он трудится со всеми, трудится другой. Молодежь колхоза избирает вожаком его, комсомольским секретарем. А потом заведующим сельским клубом назначают Ай-Теранти. И полон клуб веселья, и звонко льются здесь песни, и лекции читаются о том, как покоряется космос человеку, а человек превращается.

Растет наш Ай-Теранти, растет и его сердце, и люди, люди всюду родным его зовут. И если надо выразить людские думы-помыслы, они доверяют это ему. Ай-Теранти едет делегатом конференции. Там пылают страсти, курс жизни проверяется, рождается новое и сбрасывается грязь. Там народа думы делегатом выражаются. Колхозник Ай-Теранти — народный делегат...

Подари земле песню, — сказкой к тебе вернется, подари реке силу, — рыбой к тебе вернется, подари земле любовь, — счастьем к тебе вернется. На земле мы рождаемся. Нас, кричащих, маленьких, руки людей впервые отрывают от матерей и поднимают. Земля и руки людей нас поднимают. И мы растем, и сердца наши растут...

Совсем не правы те, кто ищет где-то счастье от родины вдали. Пусть нынче звонок космос, пусть ярче и ближе светила, но лишь на земле родной мы дышим полной грудью, лишь на земле вырастают крылья, и можем лететь мы в космос только от Земли.

Сегодня я рядом с Ай-Теранти. Нас везет один добрый конь, зовет и манит нас вперед одна дорога. Я слышу в сердце счастье. И кажется, от этого счастья стало солнце выше, тает снег, и несмелыми горностаями выбегают из-под снега первые ручейки. А сколько там под снегом жизни и движения! Любят манси соболя, любят ханты стерлядь, любят северяне край таежный свой. Все там, все не тронуто. Но все знакомо, мило. И каждая тропинка, и каждый ручеек...

Как же, как же можно сюда не возвращаться!..

Первый ветеринарный врач ханты Михаил Новьюков после московской академии в край родной вернулся. И пусть академик хантыйский работает в низшей должности, пусть знают его телята да коровы, — зато родное небо шлет лучи ласковые, зато ручьи журчащие шумят кругом, зато родные песни в травах шелестят. Все, кто школу кончил, кто солдатом служил, все домой вернулись. И Макаров Петр, и Ларкин Миляхов, и Гаврил Курлин, и многие другие — все домой вернулись. Кто по снегам колючим водит морозный трактор, кто подо льдом железным рыбу живую находит, а кто с ружьем двуглазым по тайге бродит и вместе с именем охотника имя геолога носит. Все домой вернулись: не могут жить без леса, не могут жить без рыбы, без Обских просторов жить они не могут!

И даже тот, кто под южным солнцем на свет рожден был, но если его детство скользило по Оби, если вместе с нами он не спал ночами белыми, — он край суровый наш вдруг называл нежной родиной, и навеки в сердце оставался с ним...

Вот Илья Ефтени. Родился он в Молдавии. Но учился с нами, рыбачил с нами, вместе с нами часто по тайге ходил. Потом, когда после окончания школы все мы разъехались кто куда, он умчался в свою Молдавию. Там окончил техникум...

Не белые ли ночи заворожили его сказкой, не белые ли птицы ему вдруг дали крылья? Сердце его южное вдруг затосковало

и полетело туда, в снега суровые, в просторы синие, где так мила, как девушка, ранняя весна!

И в районе Березовском, в родном селе Устреме, стал он Человеком нужным и большим. Без него там скучно, жизнь кажется не полной. Он там заводила всех культурных дел: и учит ребятишек, и читает лекции, и участвует в концертах — он учитель и артист. Коль поет баян у северянки, коль травинкой гнется маленький хантыец и в языке народа северного летает слово физкультурник — то в этом тоже есть его скромный труд.

Снег и виноград, Молдавия и Север. Какое тут сравнение? Сравнений нет? Не надо! Он здесь больше нужен, он здесь нашел себя, он нашел здесь Родину...

Вот какой наш Север!

Большие дела закружили Ай-Теранти. Он секретарь райкома. Секретарь. Это слово объяснять не надо. Сколько в нем тепла и внимания к человеку, сколько сил и страсти, сколько бодрости и вдохновенья!

И не потому только, что любит Ай-Теранти и лес, и снег, и рыбу, и людей, и что среди своих сородичей трудится, живет, а потому, что в город большой он часто ездит, сдает в институте экзамены на жизнь. И учится у города, как сделать жизнь сородичей и шире и светлей.

... Весна! Она с каждым днем все смелей и смелей входит в нашу холодную таежную жизнь. И пусть еще иногда приударит мороз и холодок пройдет по сердцам. Но солнце все выше и выше! Все звонче и звонче поют ручьи. Они сливаются, и уже шумною рекою бегут к Оби. А там раздолье! Широта и глубина! Величавое и торжественное течение в будущее!..

---

В. ФАЛЕЙ

## ЖАРКАЯ ТУНДРА

Самолет летит, и люди летят (много людей), и собаки тоже летят (десять собак), и две нарты, и два чума. Николай никогда еще не летал на таком большом самолете. Самолет дрожит: видно не легко ему. Покачнулся. Садиться хочет? Яптик близко? А стрелка лишь полчасика пробежала. Поезжай на нартах — три дня бы крутились.

Бригада выбралась на поле. Оно гладкое, укатанное. Ноябрьское солнышко сидит на тракторе, играет на зубчатых обувках. И на крыле самолета тоже. Чуть подальше — еще самолет. Бесится почему-то, урчит, снег под себя метет, будто бьет копытами от нетерпения, а бежать не может. Летчик приплюснул нос к стеклу, улыбается.

На поле огромные сани раскорячились. Из толстенных бревен. Парни-грузчики у мешков гогочут. А малиц-то сколько! Модные стали малицы — желтым, синим сатином их покрывают. Яркие кисточки у поясов, у подвязок для кисов. Куплю себе такие. Кись пестрее шьют — с красными полосками сукна. Девушки темным песком воротнички у ягушек оторачивают. У Сони воротничок из заячьего меха...

Нарядная сегодня тундра. Людей много. Разговору много. Шуток много. То ли будет к вечеру, если начальник не отправит в море!

За холмом торчат черные трубы поселка. И антенны. Не новые ли? Их было мало. Совсем голый берег был, когда малышом бегал. Набросилась буря на караван барж. Мучила, мучила. Разбросала их. Но люди перехитрили ее и выбрались на берег. Вырыли землянки — зимовать стали. Весной палатку поста-

вили, дом срубили. Факторию открыли — сдавайте ненцы песцов! И ненцы с чумами подъехали.

Перекатываются в голове мысли.

А рыбаки уже сгружаются. Торопливо бригадиры сквозь толпу пробираются: начальник пришел! По толпе шелоток: «Боровиков, Боровиков». Молодой еще, стройный, ремнем перетянутый. Взмахнул ладонью — все лишние разговоры срезал. Строгий у него голос:

— Ночевка здесь, завтра в море.

Этого все и ждали! Зашевелилась пестрота. Взвизгнули собаки. Нарты на берег побежали, в поселок, к магазину. Надо бы тюк уволочь на нарту, подоспел богатырь Тананмо — отнес тюк. А Падро-тюлень торчит около, заглядывает самолету под хвост! Чего зевает? Подсобил бы хоть нарту собакам тащить. Ох, мечтатель, Падро!..

Здравствуй, рыбацкая столица Яптик-Сале! Совсем большой город — десять домов, десять чумов. Привет и тебе, дом начальников! Больно уж закутался в снежную малицу, едва трубой дышишь. Любят начальники тепло. Будешь ли нынче фильмы показывать? Уж в месяц разик заеду.

Привет, волосатый дом! Наверное, опять затворился в тебе, радист Петр Ермолаевич. Би-би-боп — стучит ключом. Потом слушает: гудочки-птички порхают в воздухе. Из нового порта они летят. Чуткое у него ухо, однако, лучше, чем у Черной Лапы. Бывалый человек Петр Ермолаевич. Вояка. Орден Славы на груди. А я фашистов не бил. Служил, конечно. Но мне говорили: темноватый ты, Того, грамоты маловато...

Кланяюсь тебе, магазин. Ишь сколько тут народу! Двери пошире открывай. Ты даешь нам хлеб и сахар, чай и ситец. Много ли добра припас рыбакам сегодня? Очень хочется в душу твою заглянуть. Жаль, внутри у тебя хозяйничает сердитая женщина Анна Ивановна. Не желает она украшать жен и невест наших — ни монист, ни цепочек, ни бус нету. Вот вам, говорит, тонкие платья да туфли на каблуке. Зачем они девушкам тундры? Лучше бы нам ситцу цветного. Мне нужен нож с яркой ручкой. Рыбак должен быть красивым. Скажу тебе, магазин, по секрету: продай, пожалуйста, золотое колечко на палец жenuшке моей.

Ух сколько народу! Веселы лица мужчин и женщин. Расступитесь, расступитесь!

Поблескивают вокруг глаза: чего заприметил?

Наконец-то! Малюсенькое огненное колечко. Лежит на когровой ладони. Боязно глаза от него оторвать — не упало бы, не потерялось. Осторожно надо шагать в двери. Пусть все прищел-

кивают языками, пусть сто глаз встречают меня на улице. Спасибо, магазин!

Тихо вскрикнула Соня, румянец на лице разлился, глаза нежные, преданные. Люди лезут полюбоваться на колючку. И собаки ластятся.

Вздыхает у нарты молодой друг Ханику: нет еще у него жены, и невесты нету. Есть только пять резвых собак — за сто рублей не отдаст их Ханику.

Не горюй, друг, женим тебя на лучшей девушке тундры. В армию возьмут нынче, пожалуй...

— Не-е, — вздыхает Ханику, — грамоты маловато. — Не увижу каменных городов.

Тоскуешь? Хлебни лучше спирту, Ханику, веселей будет. Вот так. Теперь бригадир Муйко. И ты, брат мой Анатолий... Где же Падро? Даже к спирту опоздал... Все еще, наверно, самолету под хвост смотрит.

Солнце уже одним глазом выглядывает. Улетели самолеты. Задумчивый вечер опускается к нам на нарты. Сияет счастливое лицо Сони. Спит на ее руках Катеринка. Собаки трутся у наших ног. А по поселку, слышно, ходят русские песни. Знаю я их. Только ненецкие песни лучше. Их надо бережно во рту держать.

Споем, Соня.

Стемнело. Не дымят верхушки чумов. Гаснут огни в окошках домов. Шумно только в доме начальника — фильм показывают.

Ай! Тундра осветилась, небо заиграло. Харп\*. Веселись сегодня! Завтра пожалуй, буран будет.

— Б-р-р-р! Ог-го-го, мои собаки!

Уши к голове прильнули. Хвосты взвились. Нарты взлетают на снежных откосах — барандаях. Сердце замирает.

Хорошо ведешь, Черная Лапа! За полста рублей не продам тебя!..

...Радость переполняла вечером. И утром опять пробудилась. Вдыхается с морозным воздухом. Веселье вчерашнее и сияние неба сплелись в душе в светлый комок.

От складов ползет трактор, фыркает. Тащит сани с тюками, дровами, сетями. Начальник Боровиков важно стоит посреди улицы. Все движется к нему и вокруг него. Трактор подошел, посоветовался с ним — и в тундру затарахтел. Люди гурьбой обступили начальника.

Шибко большой запас мыслей в голове у Боровикова. Он дарит их направо и налево. Вскинул голову, помахал рукой —

---

\* Харп — северное сияние.

другой трактор под ноги ползет. Люди в сани залазят. Э-э, в море уже пора? Пойдем, Соня.

Милая девушка Паполи и старушка Сэротэтто, посадите рядом Соню с Катеринкой. Я с бригадиром Муйко на нартах поеду.

Ханику, он один на своих нартах восседает.

До свидания, начальник Боровиков. Светлая голова! Навешай наши чумы!

Ханику втыкает по пути вешки — трактор потом не заблудится. Прячутся за бугром трубы поселка. Торчит одна вышка. Прощай, Яптик-город! Многим не увидеть тебя до весны, месяцев пять.

Юркий морозец проскочил в кисы. Спрыгнуть с нарт—пробежать и вытоптать непрошенного гостя. Люди в санях смеются. Тепло и весело вам.

— Стой! — расстроенный вид у Муйки. — Беда — горчицу забыл.

Смешной ты, Муйко. Мало ли у меня горчицы — проживем!

— Не проживем, — крутит головой Муйко. — Себе не купил, брату Василию с женой не купил. Не сладко будет.

— Пожалуй, муксун без горчицы — худо.

— Дай нарту, — требует Муйко.

Не жалко, но не годится бригадиру бросать людей в море. Лучше уж я скатаюсь в Яптик. Не больше — километров десять отъехали.

Ой, ой, тонок собачий нюх,  
А у птицы — острый глаз,  
А у рыбы — чуткий слух,  
У оленя — быстрый бег,  
Человек же силен умом..

Хорошая песня сокращает дорогу.

Ну, узнаешь меня опять, Яптик? За горчицей я. Клади на прилавок, Анна Ивановна. Еще на дорогу надо угостить собак рыбой. Ешьте. А я загляну на минутку в дом начальников.

Людно, дымно от куренья. От печки — жарница. В чуме не так. Над бумажками колдует пышная неночка Лида. Шибко красивая — годится невестой Ханику. Совсем по-русски одета — платье и валенки. Забросила ягушку.

Хромой бухгалтер букву через очки разглядывает. Строгий начальник важно по одной половине прохаживается. Все уши навестили — слушают.

— На людей Муйки надежды мало, — палец загнул. — Старух, ребятишек понавезли...

Что он толкует? Доказывает — плохая у нас бригада? Еще послушаю — опять доказывает. Бухгалтер поддакивает ему, не-ночка Лида тоже. Ай, какой злой начальник!

Зачем бригаду позоришь?

Остолбенел Боровиков. Губы перекосило:

— Ну вот, полюбуйтесь: его в море послали, а он тут шагаается.

Тело съезила обида. Хохочут люди. Не знают — Муйко без горчицы остался! Чем не угодили мы начальнику? Поймаем план! Пять лет правит бригадой Вануйто Муйко. Столько же ходит за ним по морю брат Василий. Знаете ли вы про крепкие руки брата моего Анатолия? За десять лет он приучил их не бояться мороза. Или Ханику плох? Может, тихая девушка Худи Паполи? Так она даже тюленя ловить умеет! Есть у нас неповоротливый мечтатель, Падро, и он план любит больше, чем жену. А стариков и детей куда девать? Оставить — чумов нет, рыба в Порту доро-гая... О начальник, язык, твой глупее головы!..

Скорее из гадкого дома! Скорее в голубую тундру!

Ох вы, ленивые собаки! Не любите своего хозяина! Вот вам! Вот! И ты, Черная Лапа, разучилась бегать?! Проклятые собаки! День проклятый!

Сластена Муйка горчицы захотел. Сейчас угощу тебя досыта, бригадир! На всех горчицы хватит!

Скорее, скорее, чего оклядываетесь собаки!

В чуме, наверно, чай готовят. Крепким чаем напою всех — ночь спать не будете.

Что там — чумы? Убирайтесь побыстрее, трактора. Сладкий ужин привез я людям.

Сломать и сжечь на костре нарту? Разбить голову о землю? Нет, сначала накормлю вас, люди, гостинцем. Послал вам любимый Боровиков.

Стойте, собаки. Черт с вами, что вы устали! У меня тоже ноги не шагают.

Довольная улыбка плавает по лицу Муйки. Ест, ноги про-тянул...

— Что с тобой, Коля?

Это, кажется, Соня спрашивает.

— Беда какая?

Бригадир интересуется.

Очень много горчицы привез тебе, Муйко.

Я, кажется, кричу? Надо спокойно растолковать.

— Начальник на всю тундру смех о нашей бригаде пустил. Не умеем, говорит, план ловить. С ребятишками, говорит, нян-чимся...

Зачем слезы на глаза лезут... Дымно в чуме, скорее на волю. Упал на нарты, а собаки повизгивают: есть просят. Спасибо, друг Ханику рыбы им принес.

Чья-то тень метнулась от чума к чуму. Легконогая Паполи? Опять тень. Зашелестели чумы. Молча выбираются люди, окружают. Все я вам сказал, нечего добавит'...

Подступили вплотную. Брат Анатолий наклоняется. Жена Соня с Катеринкой тут же. Все двадцать человек, даже больная бабка Немпей.

— Еще расскажи, — пристаёт Вануйто Муйко, — знать хотим...

— Знать хотим!

Галдят все — «знать хотим». Племянник Витька, помолчи хоть, мал ты еще и соплив...

Добрые мои люди. Смеется над нами начальник Боровиков на всю тундру. Плохие, гозорит, рыбаки.

— Где он взял злые слова?

Не знаю, Ханику...

Жует табак старуха Падро, ворчит про себя. Курит Муйко. Идите, люди, по чумам.

Совсем не слушается тело. С трудом несет себя в чум. Сон придавливает голову к полу. Смутно слышится негромкий голос Вануйты Муйко: «Светло еще, можно сети спустить». Никто не отзывается. Ушел Муйко один.

Пробудился — душа тяжелая, как с похмелья. Снова обидные слова суеются. Крутятся, наматывают на себя душу. Каменеет она.

За стенкой чума пила позвякивает: Соня там? Заботится о тепле в чуме для дочки. Легкая куржавинка на шарфике у губ Катеринки. Реснички заиндевели. Тихая хрипотца вылетает из горлышка. Наверно, в сердце холод попал. Спи, дочурка, я маме пособлю. Не мужское, конечно, дело дрова пилить. Вижу, горит из-под шкуры насмешливый глаз Василия Муйки. Темный человек, как старик, считаешь, что сам бог велел бабе об очаге заботиться. Почему бог такое не велел русским бабам? Бога-то нету, Василий! Не любишь жену свою вот и не помогаешь. Плевать мне на твой колючий глаз! Я пошел дрова пилить.

Гудит пила — мысли гудят. Щелкает топор — мысли щелкают. Потрескивают дрова в печке — мысли протрескивают. Дым глаза ест — душу выедаёт.

Румяная Ненауке, женка бригадира, вытаскивает за короткую ножку столик. Муйко и Василий уже ноги подогнули, обливаются. Ждут — Ненауке настрогает мороженого муксуна.

Накрывай, Соня, стол. Горько на душе — все равно завтракать надо.

Ноги неторопоко шагают по скрипучему снегу. Руки нехотя берут пешню. Лед раскалывается, искрится на солныше разными цветами. Раз, два... много раз — окошко в государство рыб получается. Гуляет там много тяжелых муксунов, шмыгает нежная рыбица — корюшка.

Майна за майной... Не ушла ли рыба из подводного государства? Опять Боровиков рассердится. Медленно сползают в майны сети, тайно перегораживают все главные дороги рыбе.

Усталые шагают люди с порядков. Запах душистого чая порхать в чуме. Дорогая, заботливая Соня...

Играет в железной печке огонь.

— Нет! — озлобленно вскрикивает Муйко. Всех женщин перепугал. Со своими мыслями разговаривает. Нельзя бригадиру без своих мыслей.

— Я ему докажу! — Сердится Муйко на начальника. И хвост поджимает. Ничего не докажешь начальнику: боишься. Я тоже боюсь.

Вечер укладывает людей спать, утро будит их. Посылает майну долбить. Опять приходит вечер и заставляет покориться сну, а утро снова поднимает. Пятый день миновал — обида не улетучилась.

На горизонте точка какая-то. Оленья упряжка разве? Кто бы? Рыбаки не берут оленей в море — кормить нечем. Ба, старик Худи к сыну в гости пожаловал!

Чего стоишь, Тананмо-богатырь? Обнимай отца! А папаша, как медведь, сваливается с нарт.

— Торбо!

Интересный старик Худи. Глаза хитрющие. Умеет длинными рассказами забавлять. Сколько у него в тундре оленей, столько и историй. А оленей никто, кроме него, не считал.

В чуме старик молчит почему-то. Долго ехал, устал. Столы готовы — у старика мало слов. Сверкнули ножи, потянулись руки к вкусной строганине — оживился Худи-старик.

— Спирт есть, оленья резать надо...

Переглянулись мужчины. Засуетились женщины. Праздник будет! Побежали во второй чум — «эй, собирайтесь сюда!».

Даже больная старуха Немней приплелась.

Обжег спирт. Горяча оленья кровь. Вкусна печенка. Холодит во рту полоска мороженого муксуна. Захмелели мужчины, и женщины немножко.

Добрый, щедрый папаша у Тананмо. Оленя не пожалел, спирту привез. Теперь первую историю рассказывает. Просит не перебивать, как начальник на собрании.

Знаете ли вы про веселую забаву охоту—талару? Пока солнце еще спит, пока свет еще не вспугнул тундру, собираются мужчины в чуме, усаживаются в кружок. Слушают — умный охотник заметил в тундре стадо песцов. Драгоценных, бойких песцов. За шкурки можно получить сотни рублей! Нет, солнце все еще не выходит, а люди из чума выходят. На собаках они и пешие. Цепочкой, полукругом (старик разводит руки — вот так!) шагают, кричат. Часа три гонят зверей к заветному холму. Глупые зверьки песцы. Собираются на холме. Охотники окружают его. Прыгайте теперь, песцы! Куда вы побежите? Умный охотник выбирает двух остроглазых парней: Ты, Того, и ты, Ханику, — вперед! Прицеливайтесь в песцов. Щелкают выстрелы. Один, другой... двадцатый... тридцатый...

— Шибко загибаешь, старик.

— Зачем погибать?..

Разгулялось сердце у старика, но его можно простить.

— Много песцов! Тридцать за раз уъем, — вкрадчиво говорит он.

Не спорят с ним, улыбаются только: заврался немножко спьяна. Злитя Худи:

— Кто поедет со мной в тундру? Сам узнает!

— Далековато, — мнется Василий, а у самого от азарта рот раскрылся.

— Два дня только.

Василий оглядывается на брата-бригадира, а у Муйки нос от спирта покраснел.

— Тридцать песцов — тысячи рублей! — здорово хвалится Худи — не согласиться ли с ним?

— С планом худо, — вставляет Падро. — Не поймаем, не купить мне собачью упряжку.

Зачем он суется, этот тяжелодум Падро! Я голосую за талару! Я, Николай Того, поеду с тобой, Худи!

— О, Того!

Все рады, чего же вы раньше упирались? И Муйко улыбается, одобряет.

— Будет талара! — Друг Ханику в восторге. Брат Анатолий покрывает от удовольствия. А старик Худи еще недоволен? Темная тень от лампы качается на его лице. Сам он, как тень.

— Всю зиму будем песца бить, — объявляет он.

Грузный старик, а кипятится, как молодой.

— Зачем плохого начальника слушать? Мало ли места в тундре?

Правильно!

Я, Николай Того, трезв немножко, я согласен проучить недоброго начальника Боровикова. Едемте все в тундру!

Только еще не успокоился старик, отводит рукой все разговоры. Тишину создает вокруг себя. У-у... призывает завтра же воровать ребятишек из школы? Зачем их в интернате, как в тюрьме, держат?! Ха-ха, веселый Худи! Я согласен. Меня ведь тоже из третьего класса брат украл. Помнишь, как это было, Анатолий?

Мычит Анатолий. Ждет старик Худи. Слезливая жена Василия Муйки вдруг раскричалась:

— Не дам воровать Танюшку и Вовку, пусть учатся.

Старик Худи пригрозил ей:

— Уймись, Тоня, кто тебя, бабу, слушать станет. Три года просидела в школе, много ли ума накопила?

— Не будем воровать, — затряс тяжелой лохматой головой Василий.

Вот забава: Василий жену слушает! А еще хвалится, что все старинные обычаи соблюдает... Печку не топит...

— Скажи, Того!

Это старик ко мне. Уважает меня. Я согласен с тобой, Худи. Отзовись, Ханику, ведь тебя тоже отец из второго класса украл?

— Нельзя воровать, — строгий голос брата Анатолия. — Я уже раскаялся, Николай, зря украл тебя.

Что такое? Все перемешалось. Неграмотный брат возражает, зарвался я однако... Пусть ребятишки учатся...

Худи-старик раскачивается во весь огромный рост. Трещат жерди у печки. Упала со столика чашка и разбилась...

— Ты глуп, Анатолий, — ярится Худи. — Молодой Того умнее тебя.

Зачем так, Худи? Нельзя обижать брата. Вот очнулся от забытья Муйко. Таращит глаза. Пусть рассудит спокойно.

— Ребятишек воровать? Вы с ума сошли...

— Но-но, Муйко, в разум свой загляни. Николай, Ханику и Падро уже согласились.

Совсем спятил старик.

— Никуда мы не поедем!

— Вам деньги не нужны, дурачки? — обиженный и ласковый взгляд у Худи. Ишь хитрит.

— Ты большой обманщик, Худи.

Говорю — так мне сердце подсказывает. Не верю больше старику.

— Жалкий трус, Того! Бог тебя покарает! Треплешь языком...

Замолчи, старик! Ты не видишь — злоба во мне уже бесится. Она острее ножа. Слишком много вокруг советчиков. Уезжай отсюда, старик!

— Не гони гостя, — мирный голос у Муйки.

— Уехать надо, отец, — испугался, растерялся Тананмо.

— Еще оленя колоть будем, — хитрый Худи.

Обманщик! Никто на него не смотрит. Уезжай!.. Ты со злым умыслом вошел в наш чум. Выбирайся, Худи. Буран и ночь в тундре? Ничего, старик, найдешь дорогу.

Сон... Сон... Откуда-то начало спускаться солнечное детство. Вот я, тонконогий, шагаю по отлогому берегу моря. Взялся за руки с братишкой Мишей, бабушкой Марьич и дедушкой Хауди. Рядом бежит верная собака Белогрудка и бредет важенка. Дедушка ласково треплет нас по головкам и говорит с улыбкой: «пройдет месяц — комар, потом месяц — овод, и поедем с вами на талару». И предупреждает: «Только не бегайте сейчас далеко к морю». А мы не послушались. И начался прилив. Вода до колен, до пояса, до горла... Ой, ой, дедушка, спаси!.. Не слышишь, Хауди? А в воде за ножки схватил нас какой-то старик. Это папаша Тананмо! Тянет вглубь и кричит: «Я вас украду». Ой страшно!..

А вокруг нас уже свистит почему-то метель. Мы с Мишей остались двое в тундре. Что делать? Копать в снегу куропачий чум? Садись, Миша, разделим пополам кусочек хлеба. «Зачем нас украл старик», — спрашивает Миша? Он хочет, чтобы мы всегда жили в куропачьем чуме...

Неприятный сон. А ведь правда — мы когда-то плутали в тундре, и в воде тонули... Воспоминания слетелись, как птицы, перемешались... Проклятый хмель выбил вчера из меня разум, попал я на удочку Худи... Стыдно с людьми разговаривать... Старушка Сэротэто ворчит: «Оленя ед, спирт пил, а гостя прогнал»... Даже Муйко ей поддакнул. Разве я один во всем виноват?

— Ты первый кричал — «ехать, ехать»!

Вот как Ханику со мной разговаривает. Василий Муйко — тот и давно меня не защитит. В сеть я попал, как муксун. Осталось только съесть меня. Тут еще Соня в слезах: дочка разболелась, огнем горит. Горе...

Трех моих сестренек взял мороз, пробрался в сердце и задушил. Теперь в Яптике фельдшерница Нина есть, повезу Катеринку

к ней. Да, да, сегодня же, скроюсь от укоризненных глаз людей, и Катеринку с собой — пусть Нина лечит ее.

Всю ночь бесился огонь в печке. Катеринке нельзя без тепла. А дрова очень дорогие, на самолете из Нового Порта прилетают. Сколько огонь дров сожрал за ночь! Этим тоже недовольна бригада. Начальник разгневается на Муйку...

Утихни хоть ты, буран! Николаю Того ехать в Яптик пора, дочь болеет, понимаешь? Заблудиться нельзя. Может, буран хочет наказать меня, что старика выгнал?..

Одевай, Соня, дочку. Садись на нарту. Поехали!

Серая колючая метель. Бегут собаки от вешки к вешке. Потерялась тычинка — слазь, ищи.

Яптик, городок наш, где тут домишка фельдшерицы Нины?

Милая девушка, Нина. Больно места мало в комнатке. Давно я не жил в такой квартире. В армии только... но кошки там не было...

Слушай, слушай, Нина, что делает холодок в грудке дочурки? Головой качаешь, совсем как старушка Немпей. Плохо значит?

— Нужен врач...

Темно в глазах. Какой еще врач? Где его взять? Четыреста пятьдесят километров до Салехарда, почему, Нина, пугаешь нас? Лечи сама дочку? Ты хорошая девушка. Хочешь, пригоню из тундры от отца оленя? Двух оленей! Хочешь, песцов добуду? Спаси дочку!

Печально дрожат губы. Мало силы у Нины. Где взять врача, если буран в тундре?..

— Запрошу самолет, — говорит Нина.

По глазам понятно: не надеешься. Пойдем к радисту.

Долго стучит Петр Ермолаевич. Долго слушает гудочки. Невеселое лицо.

— Завтра ждите, если буран стихнет...

Как долго идет это завтра! Можно тысячу раз обойти поселок, тысячу раз заглянуть в окошко медпункта. Сидит там печальная Соня над кроваткой дочки. Можно еще в чум зайти. Вот живет Поля Салиндер.

Здравствуй, Поля. С лабаза вернулась? Понятно. У меня вот горе. Мороз Катеринке в сердце попал.

Охает Поля.

— Зачем жену с дочкой в море взял?

Э, Поля, не заняла ли ты мысли у начальника? В Новом порту семью оставить не лучше. Дома нет. Молодой, говорят, в чуме покочуешь. Бригадир Вануйто Муйко получил русский дом да

все равно семью привез. Скучно без семьи, и рыбу там для семьи дорого покупать, собак совсем кормить нечем.

— А Яптик Борис почему без семьи? — вскакивает Поля.

Яптик Борис — бригадир. Он оставил, правда, семью в чуме в Новом Порту. Да не сладко ему: деньги послать — почты нет, письмо послать — не с кем... Полгода не знает, что с женой и детишками...

— Консерватор. Того!..

Что? Непонятное слово, Салиндер. Клейкий у тебя язык. Все к нему прилипает. Толкуешь — жену с дочкой в чуме в Яптике оставить? Фельдшер есть, баня есть... Соне на лабазе рыбу сортировать?.. А Катеринку куда?

— В детские ясли.

Где они, Поля? Боровиков построить хочет? Пусть сначала строит!

Ух, рассердилась. Ну, ну, слушаю..

— Я работаю, Нюра и Лена Няруй, Катя Ямал — все ненки. Начальник всех в дом поселит. Русских девушек не станет привозить из Салехарда — какая выгода рыбозаводу? Ненки ребяташек в детские ясли днем отнесут, сами на лабаз. Вечером — опять возьмут.

Больно умной стала Поля Салиндер. Что ж, я не спорю. Пусть строят дома, детясли открывают. Только не верится мне. Начальник никогда об этом мне не говорил. Вам говорил — вы и верьте. Он злой человек. Собраний не созывает, сам командует, А, помнишь, в колхозе председатель советовался со мной, и с Муйкой, и с братом Анатолием..

Выбрался на улицу. Пьяный старик Худи у чума на нарте сидит. Эй, Худи, что с тобой?

— А, Того! — будто обрадовался, жмет руку. Не надуешь меня, старик: вид печальный делаешь.

— Знаю, знаю, дочка умирает..

Как ты смеешь, Худи! Фельдшерица Нина лечит Катеринку. Завтра врач прилетит.

— Никто не прилетит, — руку кладет на плечо, — не любит тебя начальник, не позаботится о самолете..

Плачешь, Худи? Прости меня, старик, я нехорошо вчера разговаривал с тобой в чуме.

Недобрый огонь разгорается в глазах Худи. Кулак поднимает.

— Смеется над вами русский начальник! Почему вы на цепочке за ним ходите?

Яростно наклонился, стучит железными зубами. Выхватил откуда-то пачку денег.

— Вот она, талара!

О, сколько денег! Горсть. Две горсти! Не обманывал, значит.

— Двадцать песцов сдал. Там их сотни, тысячи! Понимаешь,

Того?

Понимаю, Худи. Но у меня дочка больна.

Здорово пахнет от старика спиртом.

— Плюнь на всех, шаман Лапсуй лучше лечит.

Не то говоришь, Худи.

— Едем на три дня на талару. Зови Анатолия, Падро и Ханику.

Ладно, Худи. Мне нужны деньги. План не ловим — деньги не дают. Хочу Соне песцовый воротник подарить. Ты добрый, Худи.

Утром чуть свет — надо бежать к радисту: «Прилетит врач»?

— Пока неизвестно...

Скорее на берег моря. О, трактор по снегу ходит! Железными тоборами поле утаптывает. Ветер метет еще снег, но поле ровное, Чумазый парень в кабине. Вылазит.

— Чего тебе?

— Будет ли самолет?

— Должен бы...

Никто ничего не знает.

— Вот всю ночь площадку укатываю, чтобы снегом не занесло. Начальник приказал.

Что ты толкуешь, парень? Какой начальник?

— Один у нас — Боровиков. Девочка, говорит, заболела. Окружного врача ждем Владимира Прокопенко...

Сердце бьется, как птичка. Неужели добрый начальник? Поля Салиндер тоже убеждала меня...

Спасибо, парень! Я — Николай Того, ты знаешь меня? Моя дочь болеет, понимаешь? Я сейчас же побегу к начальнику, благодарить буду...

Но почему Боровиков бригаду позорил? Меня высмеял, стариков прогнать хочет... Ошибка, наверно... Потолковать надо. Умный начальник. Собрание надо, советоваться с Муйкой, с рыбаками надо. Пусть громкое слово скажет. Откроет ясли. Все ненки на лабаз пойдут... Построит в Яптике дома — в бане мыться станут, к фельдшернице ходить будут...

О, по пути старик Худи на оленях! Меня ждешь? Прости, Худи, некогда. К начальнику беседовать иду. Большая новость — добрый человек Боровиков. Детей, говорят, любит, ясли построить хочет. Попрошу скорее самолет с врачом позвать...

Ты плюешься, Худи... Оленей бьешь... Поезжай лучше в тундру плеваться — там больше места.

Ф. КУЗЬМИН

## ДОБЫТОЕ СЧАСТЬЕ

В тот год зима стояла не по-сибирски мягкая, теплая. Только изредка крепчал мороз, да зло завывала на дворе вьюга. Расшумится, разгуляется в такое время метелица, запорошит все пути-дороги. Ни пройти, ни проехать от деревни до деревни. А потом снова все стихнет, выглянет солнце, обогреет ласковыми лучами пустынные поля, и забываешь о проказнице-зиме, словно она отодвинулась куда-то далеко к студеному морю.

Это была зима, пришедшая на необъятные просторы Сибири вслед за окончанием работы двадцать второго съезда партии. Казалось, документы, принятые на форуме коммунистов, своей мудростью и величием не только зажгли огонь в сердцах народов, но и согрели всю нашу планету.

В один из таких, не по-сибирски мягких, зимних дней мне довелось поближе познакомиться с птичницей колхоза «40 лет Октября» Вассой Михайловной Старцевой.

Много теплых слов я слышал об этой женщине на пленумах Обкома партии, на партийной конференции, когда Вассу Михайловну коммунисты избирали делегатом съезда. Но поговорить все не удавалось. А биография ее волновала не только меня. Многие хотели узнать, чем заслужила простая колхозница такой высокой чести, такого единодушного доверия.

И вот мы с фотокорреспондентом в колхозе.

— К Вассе Михайловне? — осведомился бывший тогда председателем Иван Васильевич Кунгуров. — Интересный она человек, удивительно интересный. Приятно будет поговорить. А встречу с нею сейчас организуем.

— Наташа! — обратился он к девушке, сидевшей около печки в углу кабинета, — проводи товарищей до дома Старцевых.

Когда мы вышли из правления, над селом уже сгустились сумерки. Тяжелые свинцовые тучи темной скатертью заволокли весь небосвод и начали посыпать землю обледеневшими снежинками. Ветер подхватывал сухую крупу и с силой бросал гигантскими пригоршнями в светящиеся окна домов. Снежинки с шумом отлетали от стекла, ударялись о ставни, о штакетник палисадников, падали вниз и замирали.

Но ни свистящий ветер, ни больно бьющие в лицо крупинки не могли скрыть за снежной пеленой золотистого света, вырывающегося из каждого сельского дома.

А в домах тепло, чисто, уютно. Весело потрескивают дрова в печах, весело светятся лампочки Ильича, весело разговаривают люди. Им нет нужды до вьюжной погоды. Они хорошо потрудились сегодня и заслуженно отдыхают в кругу своих семей, в кругу друзей и товарищей.

Хорошо и в квартире Вассы Михайловны. Хозяйка хлопочет около плиты. Сын Валерий занят свежими газетами. Сноха Галина пеленает своего первенца, а бабка Ненила торопится в постель. Каждый член этой большой семьи занят своими вечерними делами.

Первый обмен приветствиями, первые стандартные вопросы — «как дела».., «как поживаете»?..», — первые реплики, и сразу чувствуешь: в этом доме поселилось счастье.

Счастье! Короткое, простое, русское слово. А сколько в нем смысла! Долго блудило оно окольными путями и никак не могло найти дорогу в дом Старцевой. Заглянуло как-то раз, и опять скрылось, опять запуталось в лабиринте сложной людской жизни...

Васса Михайловна встретила нас радушно. Но когда заметила в моих руках карандаш и блокнот, когда фотокорреспондент защелкал затворами аппарата, нахмурилась. В ее темных глазах загорелись искорки недовольства. Все выражение лица говорило: ох и не хочется мне о себе рассказывать...

Я почувствовал это. Принадлежности, с помощью которых мы собирались зафиксировать «героическую труженицу» и «плоды ее самоотверженного труда», были спрятаны. Это развеселило хозяйку. Она стала более словоохотливой.

— Все стремятся в поступках наших, в работе найти что-то особенное, героическое. А этого у нас ничего нет... Все мы люди обыкновенные и делаем то же, что делают тысячи и миллионы советских тружеников.

Васса Михайловна как-то незаметно для самой себя разоткровенничалась. Мы сблизились, и беседа наша теперь уже походила на беседу старых друзей.

Вот что поведала нам колхозная птичница.

Было это сорок с лишним лет назад. Васса Михайловна отчетливо помнит все до мельчайших деталей и рисует зримые картины печального прошлого.

...Посреди тесной избы на непокрытом крестьянском столе гроб из грубо обтесанных досок. Над ним беспомощно склонилась обессилевшая, истерзанная горем мать. Безудержные слезы обильным градом сыплются на покрывало. Ее сухие, костлявые плечи судорожно вздрагивают при каждом всхлипывании. Коварный тиф унес в могилу кормильца.

Пятилетняя Васюня не понимает всей трагедии случившегося. Но она видит мать льет горькие слезы, значит произошло плохое. Плачет и девочка, ухватившись за подол грубой полотняной юбки матери. Маленький братишка Евлашка тоже плачет, но не от того, что ему жалко отца. Есть он хочет, а есть нечего...

А потом долгая дорога на кладбище. Она тоже накрепко врезалась в детскую память со своими подробностями.

Не успела девочка прийти в себя от похорон отца, а на ее хрупкие плечики свалилось новое горе. В тот же год скончалась мать. Опять Васюня тупо упирает свой взгляд в угол, где, догорая, плещется пламя маленькой свечи. Опять Евлашка растирает маленькими кулачками слезы по грязному лицу.

Чужие люди собирали в последний путь самого дорогого человека...

Теперь у нее и у Евлашки никого на свете не осталось родного. Два ребенка, как две гибкие тростинки в степи, остались беззащитными. И в наследство им отец с матерью ничего не оставили: все пожитки они променяли на хлеб и картошку в суровые годы гражданской войны...

Васса Михайловна умолкла на минуту, передником смахнула набежавшую слезу, тяжело вздохнула.

— Ну, а дальше, потом как жить вы стали? — не удержался я от вопроса.

— Не весело складывалась наша жизнь и дальше, — оправившись, продолжала женщина. — Она была богата горем и очень бедна радостями. Два года воспитывались у чужих людей, а потом они уехали в город и мы снова остались одни.

Голод и холод давили нас. Вот тогда-то и пришлось начинать трудовую жизнь, учиться своими руками хлеб добывать. Но, как говорят, мир не без добрых людей. Были они и около нас.

Жила в деревне вдовушка Ксения Ивановна Митряковская. Спасибо ей, приголубила меня и Евлампия, пригрела. Вот у нее и дожила до замужества.

... На стене пожелтевшая от времени фотокарточка-пятиминутка. С нее смотрят улыбающаяся девушка в ситцевом цветном платье и бравый деревенский парень. Снимок сделан в день свадьбы. Этот день, как ясный луч солнца, озарил жизнь Вассы.

Был он веселый, лучезарный. В садике, словно специально на счастье невесты, распустились тяжелые душистые гроздья сирени. Лес зазеленел молодой нежной листвой. Поля покрылись изумрудным ковром.

А на сердце девичьем и радостно, и тревожно: новая, неизвестная жизнь наступала для молодой колхозницы.

В тот день много припомнилось Вассе из прошлого. Но все тяжелое, темное как-то незаметно отодвинулось в сторону, в тень. В памяти воскресали лишь светлые картинки. Их было мало, встречались они на пути редко, но в сердце они вошли глубоко и прочно.

Теплые, свежие вечера проведенные вместе. Короткими, мимолетными были они, эти вечера. Их словно кто-то подгонял, стбирая у счастливых влюбленных.

Он тракторист, она трактористка. Разве выберешь время для свиданий в горячую пору полевых работ? Захочешь — выберешь. Находили его Васса и Тимофей. Ничего, если мало приходилось спать. Ничего, если целыми сутками не смыкались веки. Было тогда хорошо!..

... Долго по-колхозному звенела, свадьба. Долго кричали молодым: «Горько!». А потом все стихло. Умолкли песни, и пляски. В новую семью вошла будничная жизнь.

Чуть свет поднимались молодожены. Наскоро собрав еду, тракторист и трактористка торопились в поле. Целый день, от зари до зари рокотали моторы их машин. А стемнеет — Тимофей и Васса в обнимку, тесно прижавшись друг к другу, уставшие, но счастливые возвращались домой.

А вечером?.. Теперь не надо спешить на околицу села. Они вместе. Все время вместе. Однако сутки для молодой женщины не стали длиннее, они сделались даже короче. Надо успеть приготовить ужин, заглянуть в огород, управиться со скотом, помыть, постирать, понынчиться со своим первенцом Валеркой. Ничего. Васса Михайловна не роптала на судьбу. Жизнь наделила ее неиссякаемой силой, неисчерпаемым терпением. Было трудно, но хорошо!..

... Война катилась по советской земле, сметая на пути все живое и неживое. Тяжким бременем она легла на плечи наших людей: и тех, кто в окопах стоял насмерть, грудью защищая Отчизну, и тех, кто ковал победу в глубоком тылу. В деревне остались женщины, старики да подростки. А фронт все больше требовал хлеба, мяса, молока.

Васса Михайловна приняла тракторную бригаду. Тимофея тоже сделали бригадиром.

Рано поутру, наскоро простившись с ребятишками, она оставляла их на попечение тетки Ненилы, а сама бежала к своим подругам. Молодые колхозницы сели на трактора. Было у них большое желание стать механизаторами, но не было ни знаний, ни опыта.

Васса Михайловна организовала что-то вроде краткосрочных курсов трактористок. Елизавета Ровнина, Евдокия Черепанова, Анна Старцева, Татьяна Ярунова оказались любознательными и прилежными ученицами.

Они понимали: надо скорее овладеть трактором — весна не за горами. Старались день и ночь — днем около тракторов, ночью над книгой. Когда наступила пора весеннего сева, все дружно выехали в поле.

Хлопот у бригадира прибавилось. Порой за целые сутки не удавалось выбрать и минуты для отдыха. В замасленном ватнике и грубых кирзовых сапогах Старцева бегала по колхозным полям от трактора к трактору, помогая девушкам наладить работу машин.

Бывало скажет председатель колхоза:

— Утомилась, Васюня. Шла бы отдохнула часок.

— Какой же нам сейчас отдых, — возразит бригадир. — Не посеем во время, что убирать будем осенью?..

— А измучаешься, в постель попадешь, разве лучше будет?

— Не попаду... Закончим сев — отдохнем.

Покачает головой председатель:

— Ну, смотри, бедовая баба, смотри не сорвись...

Вспоминают сейчас колхозники, частенько председатель говорил в те годы:

— Эх, побольше бы таких женщин, как Васса Михайловна! Мы бы и без мужиков горы свернули...

В заботах и трудовом напряжении она и не заметила, как к общему народному горю подкралось еще и ее личное. Однажды муж пришел домой под утро. Пришел в нетрезвом виде. Жена не стала его упрекать, расспрашивать. Что ж, и в других семьях бывает такое...

В другой раз Тимофей вовсе не пришел ночевать. На сердце женщины лег тяжелый камень. Она встревожилась. Муж перестал улыбаться, забыл дорогу к детским кроваткам, стал хмурым, нелюдимым.

— Что с тобой Тима? — заволновалась жена.

— Да так, ничего, — уклончиво ответил тот.

— Почему ты так изменился, совсем другим стал?

— Жизнь такая мне, Васса, надоела... Тянешь ляжку, из сил выбиваешься, а для чего все это?.. Сорок граммов хлеба за сутки получаем..

— Так ведь не ты один, все так получают. Время-то видишь какое!..

— Вижу! И понимать понимаю, что я тоже человек и жить по-человечески хочу.

— Но ведь на фронте еще труднее нашим людям.

— Да ладно тебе о фронте басни разводить. Агитатор тоже нашлась. Все мне надоело, ни на что смотреть не могу. Видно, конец пришел нашей семейной жизни...

— Как конец? — упавшим голосом произнесла женщина. — У нас же трое детей?..

— А что дети... В общем уйду я от вас. — Только и сказал в ответ Тимофей. И ушел.

Васса ждала всю ночь, но муж не вернулся. Не пришел он домой и на другую ночь, и на третью... Только стены горенки, да подушка знают сколько выплакано слез в эти бессонные ночи...

С упрямой, неподвижной складкой у губ выходила Васса Михайловна на работу. Она все молчала. Не замечала людей, находящихся рядом, неохотно отвечала на расспросы подруг, не слышала их сочувственных слов.

Но и этот удар не сбил ее с ног, не столкнул с пути. На то она и русская женщина, чтобы выстоять.

— Трудно, ох как трудно было нам во время войны, — вспоминает Васса Михайловна. — Надо было и пахать, и сеять, и хлеб убирать, и животноводством заниматься... Все на бабьих плечах лежало. А тут еще с фронта тяжелые вести потекли на село. Не миновали они и меня — пришла похоронная. Единственный родной брат Евлампий сложил свою головушку на поле брани. Вот ведь, думаю, какая суровая судьбинушка может достаться человеку. Давит она тебя, душит, на землю валит, головы поднять не дает. А выдержали, выстояли, перетерпели все...

Васса Михайловна достала из кармана жакета красненькую книжечку, аккуратно обвернутую прозрачной бумагой, развернула ее, тихо сказала:

— Партийный билет помог мне держаться на ногах. Помню, в сорок четвертом году секретарь райкома Разумихин положил мне в руку этот дорогой документ, посмотрел внимательно в лицо, так тепло, душевно проговорил: «Много ты, Михайловна, видела горя на своем веку. Тяжело тебе, понимаю. Но не склоняй голову. Пусть партбилет указывает тебе путь к счастью. Праздник идет и на нашу улицу — война к концу подходит, а впереди у нас светлые дела. Правильно говорил секретарь. Пришло счастье и в наш дом.

— А как вы оказались, Васса Михайловна, на птицеферме?

— Да так вот и оказалась. Закончилась война, вернулись с фронта мужчины. Вернулись не все, многих мы не досчитались, многие женщины вдовами стали. А все-таки полегче дышать начали, дела веселее пошли, полеводство на ноги постепенно стали ставить, а в животноводстве по-прежнему оставался провал. Мало производили мяса, молока, почти не давали государству яиц. Привезет колхоз цыплят с инкубаторной станции, а они все подохнут. Деньги расходуют, время убиваем, а толку от этого никакого нет: ни яиц, ни мяса, ни доходов.

Вот тогда и пригласили меня в правление.

— Ну, что, Васса Михайловна, — говорит председатель, — надоело тебе по полям бегать от трактора к трактору?

— Не женское это дело, конечно, — отвечаю я. — Да что делать-то? Хлеб-то должен кто-то выращивать.

— Механизаторов будем готовить из молодежи, а для тебя у нас есть очень важное, ответственное дело... — Председатель помолчал немного, внимательно посмотрел на меня... — На птицеферме дела у нас не клеятся. Сама посуди, ежегодно колхоз несет огромные убытки от птицеводства, а в хозяйствах, где хорошо организована эта отрасль производства, доходы получают, и не маленькие. Надо нам туда доброго хозяина послать. Может быть возьмешься, а?

— Справлюсь ли? Ведь в птицеводстве я никогда не работала.

— Справишься, — твердо сказал председатель. — На то ты и коммунистка, чтобы справиться...

... На ферме Старцева застала незавидную картину: птичники покосились, в стенах дыры, света не хватает. Ни насестов там, ни гнезд. С кормлением птиц и того хуже. Дадут так называемых «отходов» мешок на всю ферму и все. А в них ни зернышка не найдешь. Отчего же будут нестись бедные куры. Им бы хоть не протянуть ноги, не только что нестись. О каких же доходах может идти речь в таких условиях.

Да и с птицеводами непорядок. Сегодня одна колхозница ухаживает за курами, завтра другая, а послезавтра — третья.

Затыкали соломой все щели в стенах птичника, замазали глиной, где надо, мусор вычистили, окна застеклили.

— Ну вот, совсем другое дело, — рассматривая птичник, похвалил председатель птицеводов. — Теперь и зима нам не страшна.

— Даже очень страшна, Иван Васильевич, — возразила Старцева. — Перезимовать-то мы перезимуем, но кур не сохраним, если кормов не дадите. На песке и земле, что сейчас привозят на ферму, птицы не проживут. Давайте зерна, овощей.

— Мяса, скажешь, рыбы?

— И мяса, и рыбы, и гравия, и мелу, и рыбьего жира.

— Ты смотри, как она размахнулась... Вот на свою голову мы тебя послали сюда, Васса Михайловна, — улыбается председатель. — Послушать, так все хозяйство надо забросить, а только твои требования удовлетворять.

— Правление хочет доход получить от птицеводства, значит надо и средства и труд вкладывать в него.

— Ну а еще что надо?

— Еще?.. Еще надо, чтобы постоянные люди были на ферме. Не будет их, не будет ни яиц, ни птичьего мяса. И это надо решать немедленно. Надо еще построить новый птичник и цыпленник.

— Ну и пошло, и пошло, — отмахивается председатель. — Давайте не сразу все, а как-нибудь постепенно..

Но не такой характер у Вассы Михайловны, чтобы «постепенно» все делать. Она каждый день приходила в правление, стояла над душой председателя колхоза и не просила, а требовала, требовала настойчиво, без отступлений.

Старцева заставила членов правления заниматься птицефермой, заставила она заботиться по-хозяйски и о курах, и о птицеводах.

Сами работники фермы заготовили на всю зиму крапивы, капусты, картофеля, турнепса, подвезли клевера, лугового сена.

Появились на ферме и гравий, и рыбий жир, и мел, стали поступать и зерновые отходы. Подняли головы, веселее закудахтали куры. Легче стало на душе у птицеводов.

...Прошли годы и Васса Михайловна стала членом правления, членом партийного бюро, депутатом сельского Совета, членом райкома партии.

В шкатулке, что хранится в comodном ящике, почетные грамоты и медали Выставки достижений народного хозяйства СССР.

Третий раз избрана простая колхозница членом областного комитета КПСС...

— А самыми счастливыми днями моими, были дни, проведенные в Москве на двадцать втором съезде партии, — с волнением говорит Старцева. — Не ожидала я, совсем не думала, что коммунисты мне окажут такую высокую честь. За что?. За какие заслуги? Вроде мы героического ничего не делаем. А вот избрали, и я рада была этому. Радовалась потому, что люди ценят наш труд, понимают его, видят, что мы своими делами пользу обществу приносим...

Слушая доклад Никиты Сергеевича Хрущева, выступления делегатов съезда там, в величественном Кремлевском Дворце, Васса Михайловна невольно сопоставляла: что было и что сейчас есть. Там она поняла наиболее глубоко, наиболее остро сколько надо вложить поистине героического труда, умения, знаний, воли, чтобы превратить нищенскую Россию в державу, ставшую во главе всего человечества!

В Кремлевском Дворце съездов она наиболее отчетливо увидела огромную пропасть, разделяющую ее старую жизнь и жизнь новую, особенно остро ощутила счастье скромного, но так нужного людям труда!

Ясно стало, что жизнь не прошла мимо ее, не пропала даром. Разве мало радости сознание этого приносит человеку!

После всего, что мы узнали об этой женщине, как-то неловко стало спрашивать Вассу Михайловну о результатах работы фермы, которой она руководит, задавать тот вопрос, что приготовил к началу беседы.

Уже позднее, в правлении колхоза, я поинтересовался цифрами.

— Цифры эти нас радуют, — оживленно заговорил председатель колхоза Александр Андриянович Сорокин. — План продажи яиц в прошлом году был 132 тысячи штук, а продали мы 226 тысяч. Да вместо шестидесяти центнеров сдали сто двадцать семь центнеров птичьего мяса. Так что на ферме дела у нас, как говорят, в ажуре.

— А какие планы на пятый год семилетки?

— Птичницы обещают на каждую курицу-несушку получить по 120 яиц, на десять яиц больше прошлогоднего, значительно увеличить продажу яиц и мяса государству. Люди у нас на ферме работающие, слов на ветер не бросают. Раз сказали — значит сделают. Мы за них спокойны.

... Долгие годы ошупью шла по жизни Васса Михайловна Старцева. И вот наступило время, когда она словно созрела,

шире увидела горизонт, яснее ощутила дорогу, по которой следует идти и пошла ею вперед смело, без остановок.

Партийный билет открыл ей глаза, помог лучше понять цели и направления жизни, научил решать сложные вопросы, бороться со всем тем, что мешает движению к счастью, к радости, сделал ее человеком большой души.

Посмотрите, как тепло, задушевно заведующая птицефермой ведет разговор со своими подругами — птичницами Александрой Ямшиковой и Евлампией Миняевой. Ее интересуют вопросы не только работы фермы. Старцева знает, что у каждой делается дома, всегда заметит по настроению и радость и печаль, разделит их с подругами, подыщет слова утешения, если у кого случится беда, во время поддержит, подбодрит, поможет.

А с какой дочерней лаской и любовью ухаживает Васса Михайловна за престарелой бабкой Ненилой! Кто она ей? Чужой человек, тетка мужа, бросившего ее и детей. Но этот человек долгие годы делил с ней горе и печали. Неродная тетка стала своей, близкой. А теперь, когда радость пришла в дом Старцевых, Васса Михайловна делит ее со старушкой, оберегает ее покой.

Много хлопот и забот одинокой матери было вокруг детей. Ради них она не спала ночей, ради них не ждала, когда сойдут мозоли с рук.

Теперь ее комсомольцы отвечают матери тем же. Старший сын Валерий лучший в колхозе тракторист. Второй сын Юрий недавно вернувшийся из армии, принял колхозную бригаду. Дочка Галя собирается посвятить свою жизнь воспитанию детей, учится в педагогическом институте. Сноха Галина работает на утиной ферме.

Все у дел. О всех в деревне идет добрая слава. Разве это не счастье для матери? Разве не приятно сознавать, что ты их воспитала людьми нужными, желанными для нашего общества!..

... Очень проста биография этой скромной русской женщины. И в то же время необычайно сложная.

Нелегко в небольшом очерке рассказать о человеке большой души. То что здесь написано, лишь несколько страниц из жизни Вассы Михайловны Старцевой. А сколько их осталось не перелистанных, сколько их впереди светлых и радостных!..

---

В. ЧУВАНОВ

## ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА

### 1.

Второй час летит самолет. А внизу, чередуясь с белыми застывшими болотами, плывет и плывет черная Кондинская тайга. И вдруг, нарушая примелькавшееся однообразие пейзажа, возникло на маленьком пятачке, затерянном среди лесов, необычное сооружение. Даже с высоты птичьего полета угадывается его мощь. Выше самых высоких деревьев поднялась над тайгой и застыла на двух стройных ногах металлическая вышка. Буровая!

Железные вышки. Глубоко, на километры, впечатываются в землю их неизгладимые следы. Пройдет время, и следы эти станут родниками жизни. Густой струей хлынет из них кровь земли и растечется по металлическим артериям — трубопроводам. Железные вышки... Чудесное завтра открывается за вышками, шагающими сегодня по таежной земле. Разведчиками завтрашнего дня идут хозяева буровых — «урусовцы», как их иногда называют шаимские нефтеразведчики.

Семена Никитича Урусова, бурового мастера, руководителя бригады, намного опередившей планы глубокого бурения, знают далеко за пределами области. Добрыми трудовыми делами прославлено его имя так же, как и имя начальника Шаимской экспедиции Ивана Федоровича Морозова.

Почему же с такой тревогой ожидаю я встречи с этими людьми? Почему так врезались в память строчки одного из трех похожих, как близнецы, писем: «... Заслуги всего коллектива бригады приписываются отдельным людям, которые за-

нимаются штурмовщиной, карьеризмом, а, может быть, и очко-втирательством».

## 2.

— Романтики у нас мало.., — сказал Анатолий Кульбачный.

У него розовощекое мальчишеское лицо с аккуратным, чуть вздернутым носом, пухлыми губами. На темени — упрямый хохолок светлых волос. Закончил десятилетку. Сейчас — дизелист. Рационализатор.

Кульбачный — первый «урусовец», с которым я встретился. Он же задал мне и первую загадку.

Романтика... Я не знаю профессии, более романтической, чем геолог. Может быть, только что космонавт. В ней есть все, чтобы до конца заполнить человека молодого, энергичного, с душой, открытой для новых и сильных впечатлений. Как мятежный ищет бури, так романтик идет навстречу трудностям. А их у разведчиков хоть отбавляй!

Что же означают эти слова молодого дизелиста? В поисках ответа на этот вопрос я зашел в партбюро и разведком.

Валентин Фомич Бурсов, председатель разведкома, с энтузиазмом принялся извлекать из шкафа папки с протоколами собраний и заседаний. Протоколы были отпечатаны на машинке и аккуратно подшиты. Секретарь партбюро экспедиции Илья Аркадьевич Могилевич демонстрировал свою документацию с меньшим энтузиазмом: в основном, клочки бумаги, наспех исписанные чернилами, а то и карандашом.

Смешно было бы питать иллюзии, будто от этих бумаг так и повеет романтикой. И все-таки! Обыкновенный протокол профсоюзного собрания в сейсмической партии, лаконичное изложение мыслей выступавших. Вот выдержка из выступления: «Нужны учебники для тех, кто заочно учится в средних и высших учебных заведениях. Таких немало».

Месяцами жить в тесных и неуютных будках, именуемых «балками», считать таежный поселок Урай «Большой землей», которая ежедневно доступна только не знающему расстояний радисту, — это можно воспринимать и просто как суровые будни. А тот факт, что уставшие до боли во всех мышцах, промерзшие до самых костей люди находят силы, а главное — желание, забравшись на «второй этаж» деревянных нар, изучать законы физики, вслед за кривой тангенса мысленно уходить в бесконечность — в этом уже есть романтика суровых будней. Потому что романтика — всегда полет в неизведанное, неизвестное раньше.

Владимир Тетеревников, в толстом ватнике и ушанке, с серыми пятнами раствора на лице и одежде, когда он на буровой, выглядит на все свои 30 лет. В красивом костюме и галстуке, тонкий и стройный, он кажется куда мо-  
ложе.

— Учиться у нас, буровиков, нет возможности, — говорит он. — Времени мало.

Шесть классов Владимира — невеликий актив для бурильщика. Живет он не в «балке» с двухэтажными нарами, а в приличной отдельной квартире (так живут все урусовцы). В поселке Мулымья, где базируется бригада, есть вечерняя школа, можно организовать консультации. Все можно!..

— Что учеба... Хотя бы лекции время от времени у нас читали! Провели бы минимум, изучение смежных профессий, — говорит Тетеревников.

У начальника экспедиции обветренное угловатое лицо. Когда он хмурит густые брови, твердые черты лица его каменеют. А улыбка неожиданно добродушная, заразительная.

— Видно, такова уж закономерность, — говорит Морозов, — когда человеку лучше, чем было, он хочет еще более лучшего. Да вот пример. Не было у нас детского садика — не было ни обид, ни жалоб. Построили — появились и жалобы и недовольства: мест всем не хватает, кого-то обидели, а может, ошиблись при распределении. А вывод? — суровая складка разрезает брови начальника экспедиции. — Вывод один: продолжать строить... Так и это.

Ладонь Морозова ложится на аккуратно исписанные тетрадные листы — письма в редакцию о недостатках в организации труда и быта в буровой бригаде Шаимской экспедиции.

— Макаров... Начальству он закиснуть не даст. — Морозов усмехается. — Все наши промахи видит. Обо всем, что здесь написано, он уже толковал на партийном собрании...

Я не встретился с автором писем Макаровым, и потому он мне никак не представляется.

Морозов, конечно, прав «Вывод один: продолжать строить!» И все же в этом категорическом, как удар топора, заключении что-то упущено. Что же?

Мысленно возвращаюсь назад по ступеням впечатлений от всего услышанного и увиденного. «Когда человеку лучше, он хочет еще лучшего...» Не применимо ли это к Тетеревникову и другим? Может быть, лекции, о которых он говорил, пробудят у людей стремление к систематической учебе? По принципу: от лучшего — к более лучшему.

Память проследовала к истокам впечатлений дня: розовощекому лицу и упрямому хохолку волос, к неясной фразе: «Романтики мало...»

Что же случилось в бригаде буровиков? Здесь, в экспедиции, это не выяснишь. Надо ехать в бригаду. Говорю об этом Морозову.

— Я бы тоже съездил. Но завтра улетаю на два дня. — Морозов задумчиво смотрит в окно. Там уже густая ночь. И вдруг он улыбается так, что хочется и самому улыбнуться:

— Поехали!

— В бригаду?

— Нет, конечно. Бригада уже спит... Да поехали же! Что-то покажу...

Последняя фраза прозвучала так, что память отшвырнула меня не на часы, а на десятилетия назад — в детство, полное тайн и загадок. И ночь, и мороз стали ничем. Поехали!

### 3.

...Лесная дорога — бесконечные повороты, крутые подъемы и спуски. Плотные шеренги стволов, выхваченные из мрака светом фар, бросаются навстречу, расступаются, проносятся мимо.

Поляна открылась неожиданно. Мы выходим из машины и видим, как высоко в ночном небе яркими теплыми звездами горят электрические лампочки.

Морозов идет впереди. Твердая, уверенная походка словно говорит: нет и не может быть ничего неожиданного в заснеженной молчаливой тайге. А если неожиданное и случится, оно все равно не застанет врасплох.

Мне вдруг представилась бескрайняя белая тундра, полярная ночь над нею и человек, изнемогающий от усталости, готовый каждую минуту свалиться замертво и все-таки идущий вперед, вперед...

История не очень-то давняя. В «джеклондоновскую» стужу, такую, что злее серной кислоты сжигает человеческие легкие, по неверному оленьему следу, проваливаясь по пояс в снег, Морозов вышел сам и вывел за собой в Салехард еще двоих пассажиров автомашины, сломавшейся в двадцати километрах от города. Об этом можно рассказать в двух словах, спокойно, с беспечной улыбкой: чего не случается с нами, геологами! Можно об этом написать роман: десять волнующих, полных драматизма глав, где каждая глава — один час пути...

— Папиросу лучше затушить, — говорит Морозов.

Мы стоим у края котлована. Неширокая в диаметре труба берет свое начало здесь и уползает в лес, к электрическим огням буровой вышки. Волной пробегает по трубе лихорадочная дрожь. Черная, маслянистая струя плещет на белый снег. Вот клад, во имя которого люди на многие годы отказались от комфорта городских квартир, от размеренного образа жизни, с завтраком и обедом по расписанию, с производственной гимнастикой в одиннадцать утра, пижамой и мягкими домашними туфлями после пяти вечера...

Течет нефть. Луна выглянула из-за облаков, десятки золотых чешуек поплыли по маленькому черному озеру. Снова надвинулась туча, и ночь стала еще угрюмее, еще непрогляднее. Но я уже запомнил новое, незнакомое раньше лицо начальника экспедиции. Те же густые, сдвинутые к переносице брови, те же самые черты угловатого обветренного лица. Но была в этих чертах и во взгляде, устремленном на черный фонтан, разлита такая необыкновенная мягкость, почти восторженность, что невольно подумалось: да есть ли в людях иное, более великое человеческое начало, чем влюбленность в свое дело!

— Нефть семнадцатой скважины, — негромко говорит Морозов, — это новогодний подарок людям от бригады Урусова.

#### 4.

От Урая, базы экспедиции, до Мулымьи, где размещается бригада Урусова, километров 25 по временной зимней дороге. У самого въезда в поселок — красный уголок, обычная бревенчатая изба.

— Когда в последний раз открывали красный уголок?

— В октябре. Проводили здесь профсоюзное отчетно-выборное собрание...

Значит, три месяца назад. Какие уж там лекции...

Еще до встречи с бригадой многое прояснилось, стало на свои места. Большая правда морозовских слов: «Надо строить!», становилась лишь полуправдой, если к ним не добавить: «И не допускать повторения ошибок». Это и о детских садах и распределении мест в них. Это и о всех других больших и малых делах и проблемах многообразной и сложной жизни экспедиции.

В тот самый вечер, когда в красном уголке проходило собрание бригады, машина увезла очередную вахту на буровую. Несмотря на мороз, машина не была оборудована защитным тентом. А как раз об этом писалось в письмах в редакцию. И об этом же самом еще раньше говорилось на партийных и профсоюзных собраниях.

Не надо повторять ошибок! Тем более ошибок выявленных, несомненных. Именно так ставили вопрос многие выступавшие в этот вечер.

Первым поднялся Кульбачный. Его хохолок торчал воинственно.

— Правильно написано в письме! — краснея от возбуждения воскликнул Анатолий. — Стояли на вахте по 10, а то и по 12 часов подряд? Стояли... Я не говорю, что часто, — ответил он на заданный ему вопрос, еще больше заливаясь румянцем. — Пусть не часто, но было... А еще я внес рационализаторское предложение. Говорят, хорошее предложение. А вознаграждение начислили — 10 рублей. Дескать, условия труда облегчает, но экономического эффекта не дает... Десять рублей — это как насмешка. Я их не возьму!..

Потом слово взял Макаров.

Худощавое, бледное, словно восковое лицо. Колючий взгляд светлых глаз. Он взял на себя роль «дирижера» собрания: выступал, отпускал реплики, комментировал речи выступавших.

Понять его было можно: он автор двух писем, организатор и составитель третьего, коллективного письма. К тому же его реплики и замечания не носили откровенно вздорного характера: Макаров опирался на факты.

И только раз Макаров сорвался. Это случилось, когда представитель отдела труда и зарплаты экспедиции Пироженко объяснял, как и почему были снижены расценки на механическое бурение.

К этому моменту — и еще раньше — ничего неясного в письмах не осталось. В них правильно перечислялись ошибки и упущения администрации. Ошибки эти толковались тенденциозно, выводы были крикливы. Но не в этом суть. Главное в том, что все эти ошибки и промахи, в большинстве своем мелкие, легко устранимые (руководители экспедиции повинны в том, что своевременно не устранили их!), подводили к основной, так сказать, кульминационной части обвинения.

«Мы, буровики, повышаем производительность труда, — сообщалось в письмах, — а заработок у нас не повысился, а упал в связи с проведенным снижением расценок на механическое бурение».

Соответствует это действительности? Да. Есть тут ошибка администрации? Есть. Она заключается в том, что явно заниженные, льготные местные нормы не были пересмотрены гораздо раньше, уточнены своевременно, быть может, более плавно, без резких скачков. Можно ли было оставлять неизменными

нормы? Нет, нельзя. Кстати, и сейчас, после пересмотра норм, удельный вес тарифной ставки в зарплате бурильщиков остался ниже, чем это предусмотрено соответствующими постановлениями правительства. Советовалась ли администрация с бригадой, предпринимая этот пересмотр? Да, и не раз, в течение ряда месяцев, на ряде бригадных собраний. Подавляющее большинство членов бригады правильно поняло эти необходимые действия.

И вот теперь, когда Пироженко вновь доложил собранию о том, что уже все давно знали и поняли, Макаров бросил с места:

— Так что же нам теперь — снижать производительность труда?

Кажется, он тотчас пожалел, что эти слова сорвались с его уст. Макаров замолчал. Молчало и собрание. И в этом молчании бригады не было одобрения его словам. Тогда Макаров заговорил о другом, о том, что его оскорбил Урусов.

Скажу откровенно: на этом собрании я не рассмотрел Урусова, хотя стоял рядом, разговаривал с ним, слушал его выступление. Черноволосый, невысокий ростом, немногословный и некрасноречивый, он выглядел куда менее эффектно, чем «дирижирующий» Макаров.

Собрание, как собрание. С острой критикой в адрес администрации и разведкома. Но не было в выступлениях рабочих ни зла, ни надрыва, которые есть в письмах Макарова. Собрание выработало предложения: пусть администрация экспедиции на основе их разработает нужные мероприятия...

«Конечно, и руководство, и партбюро, и разведком многое упустили в бригаде. Увлечлись процентами, пробуренными метрами. Забыли о воспитании, о духовном росте людей... А ведь ребята в бригаде неплохие. И духом не слабые... Макаров? Насчет снижения производительности труда — это по горячке. Самолюбие: говорил о недостатках и раньше — не прислушались:».

Так думал я, возвращаясь на «газике» в Урай. Мне казалось, что инцидент исчерпан.

## 5.

— Я не могу отдать бригаду на откуп Макарову!

Начальнику экспедиции рассказали о собрании в бригаде. Не знаю, как уж рассказали, но только жесткие складки прорезали щеки Морозова.

Гнев просто кипит в нем, заставляет широкими стремительными шагами метаться по кабинету. В глазах выражение холодного упорства.

На кого злится начальник экспедиции? На себя? На членов партбюро? На руководителей разведкома?

— В бригаде начали процветать иждивенческие, рваческие настроения!

Морозов ходит по кабинету, напряженный, угловатый. Чем пристальнее всматриваюсь я в выражение его глаз, тем больше начинает казаться, что в них читается вовсе не упорство... Неужели упрямство?

Шаг, шаг, еще шаг...

... Полярная ночь над тундрой. Проваливаясь по пояс в снег, до самых глаз прикрыв лицо шарфом от сжигающего легкие мороза, шагает человек. За ним след в след, идут двое... Тогда было только двое!

Начальник экспедиции, руководитель многосотенного коллектива, сердито ходит по кабинету. И кажется, что сами стены накаляются от его гнева. В другом кабинете председатель разведкома неторопливо, с прохладцей переписывает протоколы отчетно-выборных собраний. Есть дела и у секретаря партбюро: читает стихи, предназначенные для новогоднего номера стенной газеты...

Лед и пламень превращают железо в сталь. Но они же, сочетаясь неудачно, могут разрушить даже самый стойкий, самый крепкий материал.

Сейчас я думаю не о Морозове, не о Могилевиче, не о Макарове. Ни о ком в отдельности. Видением встает в памяти буровая вышка, шагающая по тайге. Это люди ведут ее за собой через лесные чащи и болота. Это — прославленная буровая бригада. Это вся Шаимская экспедиция — сотни людей, вышедших в глубокий рейд, наступающих на неизвестность...

Быть может, я чего-то не увидел на собрании? Не понял? Мне хочется сейчас быть там, где нехоженными тропами идут рядовые разведчики. И я говорю об этом Морозову. Он останавливается, знакомым движением поворачивается к окну, следит глазами за струйкой папиросного дыма, уплывающего в форточку.

— Ладно. Поезжайте, — говорит Морозов и снимает телефонную трубку, чтобы вызвать машину.

## 6.

Болота, тайга, болота... Разведчики спешат использовать зиму, чтобы пройти, прошупать чуткими приборами каждый метр равнин, закованных в хрупкий панцирь.

В тот самый день, когда я выехал из Урая в Мулымью, чтобы попытаться разобраться в неясном, — в этот день отряд Эдвина Толстова из сейсмической партии Юрия Валерьяновича Ознобихина проводил обычную работу, исследуя заболоченную местность.

Недолог зимний световой день в этих широтах. И потому разведчики стремятся использовать каждую минуту до предела. Но в этот раз случилось «ЧП».

Тракторист Муслим Салимов круто развернул свой могучий С-100. За шумом мотора он не услышал треска льда, только почувствовал, как задняя часть машины стала быстро оседать. Тракторист переключил скорость, но было поздно. Салимов успел выскочить за какую-то долю секунды до того, как трактор глубоко провалился в образовавшуюся полынью.

Болото неторопливо, но уверенно делало свое дело: сантиметр за сантиметром, глубже и глубже засасывало свою жертву. На стороне трясины было по меньшей мере два фактора: слишком голая ледяная равнина и лютая обжигающая стужа.

Не знаю, кто первым подошел к полынье, расстегнул и аккуратно положил на лед ватник. Семен Хохлов? Иван Зеленский? Знаю только, что они, их товарищи Михаил Летков, Алик Исмаилов, Эдуард Бембеев и другие в течение нескольких часов, сменяя друг друга, по пояс купались в ледяной воде, стараясь металлическим тросом подцепить трактор. По три, а некоторые и по пять минут выдерживали эту добровольную пытку. Сменившегося растирали, одевали в сухое, вели к костру. Через четверть часа он снова шел к проруби.

Стужа — союзница болота — не остановила людей. Так был бит один из факторов, на который, казалось, вполне могла положиться стихия.

Солнце опустилось к горизонту, наступили сумерки и ночь. Четыре трактора образовали могучий поезд, соединенный тросом с пятым, попавшим в беду. Взрели моторы.

Теперь вступил в силу второй фактор — голая, без единой точки опоры, равнина. Тракторы буксовали, взрывая гусеницами лед.

— Трос! — крикнул кто-то...

## 7.

В это время за столом молодежного общежития в Мулымье шла неторопливая беседа. Участники ее — мастер Семен Урусов, бурильщик Владимир Шидловский, дизелист Анатолий Кульбач-

ный — обсуждали предложения, высказанные на бригадном собрании.

— А ведь в общем-то мелочи, — сказал Шидловский, еще раз просматривая постановление собрания.

— Мелочи, — согласился Урусов. — Но коль собрание поручило, надо выполнять его волю. Подпишем и передадим администрации.

Кульбачный больше молчал. В его, как всегда взъерошенном белобрисом хохолке, на этот раз не было ничего воинственного. По-детски свежее лицо дизелиста выражало не то удивление, не то смущение... Досадливо сморщив чистый лоб, он негромко и недоуменно сказал:

— Почему я об этой десятке речь завел? Рвач я, что ли?

Урусов мельком взглянул на него, пошевелил черными бровями, усмехнулся. Потом продолжал свое:

— В том и беда, что большое делаем, а мелочи упускаем. Ведем разговор о питьевой воде на буровой, а бидон погрузить на машину сами же ленимся...

Быть может, время и прошло бы в спокойной, неторопливой беседе. Но не такой, видно, был этот вечер. «ЧП» случилось и в Мульмые.

— Кто Урусов?

На пороге стремительно распахнувшейся двери стоял долговязый парень.

— Чем хотите порадовать? — с легкой усмешкой начал Семен Никитич, но, всмотревшись в парня, встал, уже серьезно спросил:

— Что случилось?

— Человек поранился. Тяжело. Нужна машина. Вот послали к Урусову...

— Вы кто?

— Строители...

— Фельдшер?

— Там.

Урусов идет по освещенной улице поселка к дому, где живут строители. Его коренастая фигура олицетворяет спокойствие. Долговязый парень то обгоняет Урусова, то возвращается, кружит вокруг него, что-то взволнованно рассказывает.

У человека, лежащего на койке, до синевы бледное, в каплях испарины, лицо. Глаза закрыты. Губы сведены гримасой боли.

— Как? — спрашивает Урусов фельдшера.

— Плохо. Надо бы срочно отправить в больницу.

Больница (десять коек в маленьком бараке), расположена в Урае. Единственный автобус, которым располагает Урусов, через час должен повезти вахту на буровую. Если на нем отправить больного — четыре часа в два конца, плюс еще два часа от Мулымьи до буровой. Получается как раз то, о чем говорили на собрании: вахта, ожидающая смены, вместо восьми часов будет работать двенадцать. Может вызвать по рации Урай, попросить, чтобы оттуда прислали машину? Здесь она будет через два часа, еще через два часа доставит пострадавшего в больницу. Транспортировка больного несколько затянется. Зато никто не упрекнет мастера, что он заставил бригаду переработать. Стоит подумать! Особенно сейчас, когда назрел этот досадный конфликт. Не слишком ли Семен Никитич торопится с решением:

— Заводи, — говорит он шоферу автобуса. — Повезешь больного в Урай. А я схожу к лесникам, может, добуду машину, чтобы отвезти вахту...

## 8.

Урусов все еще ищет машину и, как видно, безуспешно. В общежитии людно. Здесь собралась вахта, заступающая на смену. Мне особенно интересны эти люди. Во-первых, в этой вахте трудится Макаров. Во-вторых, кроме Макарова, никто из них не был на собрании бригады — находились на буровой.

Несколько минут разговор идет вокруг несчастного случая со строителем. Это прелюдия. Потом Макаров, проходя, словно настраивая скрипку, бросает реплику о красном уголке: стоит нетопленный, без единого лозунга, негде даже провести беседу с рабочими.

— Администрация обязана обеспечить культурное учреждение отоплением, освещением, организовать уборку помещения, — говорит он.

Я уже заметил, что Макаров умеет оперировать неотразимыми фактами. В данном случае, он почти дословно цитирует абзац из коллективного договора, раздел «администрация обязуется...»

— А почему бы вам самим не привести в порядок культурное учреждение? Не ожидать администрацию, а самим поддержать чистоту и порядок, — задавая вопрос, я думал не только о красном уголке.

— Дядя бросит окурок, а я должен подобрать? — спрашивает кто-то.

— И полы самим мыть?

Отвечает чей-то звонкий голос:

— А студенты моют у себя полы. И ничего.

Голос явно не звучит в тон макаровской скрипке, и он снова берется за смычок:

— Студенты не платят столько за общежитие, сколько мы. Не годится всех на одну доску ставить. Несправедливо.

Высокий, с красивым энергичным лицом мужчина. Сила чувствуется в его ладной фигуре, в чертах лица. Бурильщик Кутилов.

— Я железнодорожник, машинист, — Кутилов говорит с напором и желчно. — Жил в Тюмени, была квартира. Ушел в армию, восемь лет отбыл на Севере. Вернулся — нет квартиры. Кто-то занял. Пытался выяснить, говорят: законно занял. Куда деваться? Вот и мотаюсь по Северу...

Слова падают в тишину, и от них становится как будто темнее вокруг. Может, это замешкался дизелист на электростанции, сбавил обороты двигателя.

Я смотрю на Макарова. Сейчас он сидит в стороне, незаметный, притихший. На лице его застыла довольная, почти блаженная улыбка. Колючие глаза — в напряженном внимании...

Что происходит? Верно ли, что за сумеречными углами этой комнаты есть ночь, озаренная огнями всегда не спящих буровых? Верно ли, что есть стужа и ветер, бьющий в лицо, и люди, идущие навстречу ветру?

## 9.

— Трос! — крикнул кто-то.

И все увидели, как между четырьмя угловатыми силуэтами тракторов и полыньей обозначилась в ночи багрово-красная струна. Потом она стала белой. Не выдерживая страшного напряжения, металлический трос накалялся, рвался. Так повторилось несколько раз.

— Надо взорвать лед, расширить полынью, — решили люди.

И снова парни раздевались и плескались в воде, укрепляя подо льдом взрывчатку.

Тревожно дрожали алые языки костров. Ревели тракторы. И, казалось, не будет конца у этой беспокойной ночи...

... В общежитии темно. Давно ушла вахта Кутилова. А я пытаюсь осмыслить услышанное сегодня, установить связь со всем происшедшим в эти дни. На душе беспокойно. Неужели верно, что иждивенчество пустило глубокие корни в бригаде?

Кутилов... Любит именовать себя машинистом. А собственно почему? Работал он и инкассатором в конторе Госбанка и фининспектором, кладовщиком, завхозом и даже директором столовой. Был начальником технического снабжения в Кондинском лесном хозяйстве. Служил счетоводом-кассиром в тресте «Тюменьнефтегеология»...

... Пожарный, инструктор по кадрам, завскладом пункта заготзерно, грузчик, старший товаровед... Это Макаров. Сейчас он дизелист на буровой, но считает себя прорабом.

Что общего у обоих этих, непохожих внешне людей? А вот: нет у них дела, которое стало бы делом жизни.

Я глубоко убежден в том, что машинист локомотива, если он влюблен в свою профессию, не станет заведующим столовой. Прораб не пойдет в пожарные. Так же, как и пожарный по призванию — в прорабы.

Жизнь порой круто обходится с людьми. Бывают ошибки, бывают всякие случаи. Но если у человека есть дорогое сердцу дело, оно, в конце концов, через все преграды, притянет к себе, поможет, поставит на ноги, возвысит...

Заниматься нелюбимым делом — это не значит обязательно плохо работать. И в этом случае можно выполнять и перевыполнять задания, числиться передовым, получать Почетные грамоты. От человека будет полезная отдача. А сам он получит взамен только зарплату. И есть закономерность: чем меньше человек любит свое дело, тем больше хочет выжать из этого постылого или безразличного ему дела личных материальных благ. У него развиваются желчность, брюзгливость, завистливость. Потому, что никакими деньгами нельзя заполнить душевную пустоту.

На собрании бригады, где много говорил о недостатках и трудностях, бурильщик Распопов сказал:

— Недостатки нужно исправлять. Хныкать только не надо. Мы разведчики! Тому, кто идет впереди, всегда труднее...

Макаров не оставил без внимания этих гордых слов. В его нападках на Распопова мне послышалась зависть. Зависть человека, которому не дано великое счастье приобщиться к чувству гордости за дело, которому служишь. С этой точки зрения Макарова можно пожалеть.

Макаров живет с людьми. В основном, это люди молодые, душевные струны которых еще нуждаются в настройке.

«Я не могу отдать бригаду на откуп Макарову» — это после собрания.

Но ведь Макаров был и до собрания. Как же настроены души людей, которые все-таки здорово умеют трудиться? Почему-то с особым волнением ждал я вахту, которую поехал сменять Кутилов.

Они пришли в четвертом часу утра, принеся с собой морозные запахи таежных ветров. Шумно раздевались, подогревали коллективную холостяцкую кастрюлю с супом, пили чай. Вели разные разговоры. Потом включили на полную мощность приемник (такой уж заведен порядок здесь!) и уснули. Лишь перед самым сном, уже лежа в постели, кто-то спросил:

— Выживет ли парень, которого в Урай на автобусе возили? А?..

Ему ответили:

— Выживет. Спи!

Ни сейчас, ни утром, после пробуждения, — ни слова о том, что отработали 14 часов кряду.

А когда яркое утреннее солнце ударило в окно комнаты, я подумал: уж не пригрезилась ли мне ночь с густыми тенями в углах, со словами, от которых эти тени становились еще гуще?

На улице взвизгнула тормозами машина. Вошел главный инженер экспедиции Геннадий Александрович Махалин.

— Этой ночью у сейсмиков «ЧП» было, — сказал он, поздоровавшись. — Трактор едва не утонул в болоте. Ничего, вытащили...

## 10.

Махалин объясняет принцип работы «шарошки», той, что грызет земные тверди, а я не могу оторвать взгляда от лиц бурильщика и рабочих, сосредоточенно занятых своим нелегким трудом.

Тайга, обступившая буровую, — в седом куржаке. Прозрачный воздух — это тысячи иголок, жалящих лицо до тех пор, пока оно не потеряет чувствительность. Но люди на буровой словно не замечают мороза.

Бурильщик не отходит от пульта. Спуск — подъем, спуск — подъем — наращивается и наращивается инструмент, глубже и глубже уходит турбобур в вековые пласты.

Я смотрю на лица работающих. Они разные. Совсем молодые и уже с неизгладимыми бороздами лет, чисто выбритые и поросшие щетиной. Разные. И все же есть в этих людях что-то общее и уже знакомое мне, виденное.

...Нефть. Луна, упавшая в черное озеро и рассыпавшаяся там на десятки золотых чешуек. Глаза человека, озаренные

внутренним светом, необыкновенные, почти восторженные, почти влюбленные...

Тот же свет в глазах рабочих на буровой. Он роднит их, как членов одной семьи, как братьев. Теперь я понимаю, почему Семен Урусов не колебался, отправляя автобус: он видел, знал, не раз смотрел в глаза людей своей бригады.

На минуту возникает в памяти чей-то колючий взгляд. Возникает и снова исчезает, заслоненный неугасимым светом многих глаз...

Из-под заломленной шапки торчит знакомый хохолок. На площадке, где трудятся буровики, появляется дизелист Кульбачный. Он что-то кричит, слова тонут в мощном гудении механизмов.

Я смотрю на его одухотворенное лицо и вижу Анатолия Кульбачного в шумной группе студентов, выходящих из аудитории института (есть такая мечта у парня). Вот он идет по коридору, останавливается, задумавшись о чем-то. О чем? Не вспомнился ли ему вот этот самый день, весь в морозном инее и солнце? Может, он подумал о том, как часто мы в молодости ошибаемся, ищем порой романтику и не догадываемся, что она в этом радужном инее на деревьях, в прозрачном небе, куда устремилась красивая, не знающая ни сна, ни отдыха металлическая вышка!

... На буровой не умолкает трудовой гул. Все дальше в землю вгрызается «шарошка». Идет глубокая разведка!..

Вот, собственно, и все. Можно добавить, что состоялось заседание партийного бюро. Макаров на нем оперировал неопровержимыми фактами, загоняя в тупик членов партбюро. Морозов боролся с собой, чтобы не взорваться от ярости. Семен Никитич Урусов сказал просто:

— Меня в письме обругали карьеристом. Не знаю. В моем представлении карьерист тот, кто нечистым путем добывает себе славу и положение, лезет вверх по спинам других, загребают жар чужими руками. Посмотрите на мои руки и определите по ним, кто я — карьерист или рабочий человек.

Он протянул две шершавые, натруженные ладони, иссеченные морозом и ветром, в мозолях и зарубцевавшихся ссадинах. И я впервые увидел, как проступают на восковых щеках Макарова розовые пятна стыда. Потом Макаров оправился, передернул плечами (словно воробей, неожиданно плюхнувшийся в лужу и выскочивший из нее) и снова обратился к фактам...

... До отлета самолета — час. В последний раз я смотрю на людей, склонившихся над геологической картой. И ловлю себя на том, что мне не хочется уезжать от них. Немного дней я пробыл здесь, но как много дали эти дни. Такое чувство, как будто я обрел какое-то новое, лучшее зрение.

А они, склонившиеся над картой, продумывающие планы новых атак? А те, что сейчас вгрызаются в землю? Мне очень хочется думать, что эти дни не прошли для них даром. Наверное, так и есть. Ведь каждый прожитый день обогащает человека, если человек не глух к большим и малым урокам жизни...

— Следующую забурим здесь, — говорит Иван Федорович Морозов.

Разведка продолжается. Большая, глубокая разведка, в ходе которой проверяются не только крепость и качество земных пород, но крепость, и качество, и богатство душ человеческих. Успехов вам, разведчики!

В дни, когда сборник готовился к печати, перечитывая очерк, я вновь пережил те чувства, которые волновали меня в ту памятную встречу с шаимскими геологами. И подумал: быть может, читателя заинтересует, как сложилась дальнейшая судьба некоторых героев очерка. В разное время — летом и осенью — мне довелось вновь увидеться с моими знакомыми из Урая и Мулымья.

Подлинную радость доставила недавняя встреча с Морозовым и Урусовым. Внешне они ничем не изменились, эти два неутомимые разведчика. Да и понятно — времени прошло так мало. И все же! — вот этого тогда еще не было: на отвороте поджака, в который был одет Иван Федорович, я увидел орден «Знак Почета». А на груди Семена Урусова ярким огоньком горела золотая звездочка Героя Социалистического Труда.

---

А. ЧЕРНЯЕВ

## РЫЦАРЬ ЛЕСОВ

### Первая встреча

Сосна — мыслитель. Она и под солнцем, и под тучей задумчива. Осина — падчерица. Самые горькие соки земля ей отдает. Тальник — конь тонконогий. Пьет из реки воду, прыдет ушами-листьями, к каждому шороху прислушивается.

Я считал, что только так может говорить о деревьях человек, который почти всю свою жизнь вырачивает лесные роши. Мне казалось, что для него лес — это песня. Березовый — лирическая, осиновый — тоскливая, как осень, когда навевает грусть постоянная дрожь листьев.

А он, оказывается, совсем не такой. Тонкие сжатые губы, стрижен под машинку, тщательно выбрит, цепкоглазый. Нашлись люди, которые предупреждали: «Скуп и зол. Задирист. Без споров не живет. Никаких авторитетов не признает».

Заинтересовало, что, думаю, за нигилист этот Степан Маркович Петров, директор Ишимского лесхоза?

При первой же встрече он отчитал меня.

Дело в том, что пришла к нам в редакцию весточка, будто в Ишимском лесхозе есть сосновая роща, посаженная кем-то в прошлом столетии. Вот я и решил раскопать историю рощи. А кто, кроме Степана Марковича, может знать эту историю? Он, почитай, каждое дерево в своих лесах знает.

— Историю рощи, говорите, надо? — спросил он, и вспыхнули румянцем щеки. Вижу, осерчал Петров, крепко осерчал, а за что — не знаю.

— Все-таки странно. А?! Разве о сегодняшнем дне уже писать нечего?! История рощи, видите ли... Да ведь раньше са-

дили-то всего по два-три гектара в год. У нас дореволюционных культур с гулькин нос — восемь га на весь Ишимский район вместе с бывшим Казанским. А мы своими руками только в пятьдесят первом году посадили и посеяли три тысячи двести восемьдесят семь гектаров!

— Ну? — немного помолчав, спросил Петров. — Так о чем же писать надо?

И я почувствовал, что расшевелил самую больную рану Степана Марковича. Чутье не обмануло меня. В этом я убедился позднее, когда уже довольно хорошо познакомился с Петровым. Забегая вперед, скажу, как это произошло. Мы сидели с ним в его маленьком кабинете. Узнав, что я тоже ишимец. Степан Маркович стал охотней рассказывать о своей жизни, о том, что ему уже пятьдесят два года стукнуло. И вдруг вздохнул, пристально глядя в одну точку:

— Пятьдесят два... Я неплохо прожил их. Батрачил, как и отец, до революции. Потом работал в Акмолинском Губчека. Потом рабфак, Красноярский лесотехнический техникум... Был лесоустроителем, ходил в экспедиции, потом... сломал ногу. Пришлось перейти в лесхоз. Работал честно, неравнодушно. Но если бы мне довелось начать жизнь снова, то я стал бы жить совсем не так.

И вижу, слезы навернулись.

Он вытер их, сказал сухо и строго, осуждая себя за минутную слабость:

— Устал. Старею.

Подумал, продолжал:

— А может быть и не стал бы.

Этот немолодой мужчина хотел разобраться, правильно ли он тратил энергию, знания, волю. Стоит ли этих затрат та цель, которой он служил и служит до сих пор?

Тогда и я решил найти ответ на этот вопрос.

А сейчас, в день нашего первого знакомства, я просто слушал запальчивую речь Степана Марковича и только.

— Вы обратили внимание на нашу вывеску? — спросил Петров и прошелся по кабинету раз, другой. — Вот именно — механизированный лесхоз. Планы у нас, конечно, соответствуют этой вывеске — большие планы. Чтобы их качественно выполнять, надо иметь тринадцать тракторов, шесть автомашин. Мы имеем три трактора и две автомашины. И даже эту незавидную технику нам негде ремонтировать. Своей ремонтной базы не имеем, а создавать ее для трех тракторов и двух автомашин

нет никакой необходимости. Вот и ходим за каждым винтиком с поклоном к «дяде».

Заглянула в кабинет бухгалтер, Петров махнул ей торопливо рукой:

— Занят, занят.

Потом снова ко мне обратился:

— А ведь выход из этого положения есть. Идеальный выход: отдать нашу технику РТС и брать ее на договорных началах. Но потом нам ее не дадут. Скажут — горячая пора, посевная... Хлеб, конечно, штука важная. А лес? Его ведь надо не только заготавливать, но и сеять. Вы представляете, в каком глупейшем положении мы находимся? Не знаю, с какой стати наш лесхоз подчинили комбинату «Тюменьлес»? Значит, база нашего снабжения в Тюмени, в комбинате. А мы — в Ишиме, и здесь нам даже гвоздя никто не дает.

Замолчал, углубился в свои думы, а потом высказал их:

— Когда-то мы были в системе сельского хозяйства. И правильно... Мы же на земле живем. У нас такая же сезонная работа, как и в сельском хозяйстве, та же пахота, те же посе-вы. А что нам дает подчинение комбинату?

Степан Маркович рассмеялся и достал из стола несколько папок.

— Комедия и трагедия получается, когда нас меряют на аршин промышленного предприятия. Комбинат завалил нас различными документами, директивами, которые нужны только для промышленных предприятий. У меня поэтому есть две папки. В одной, вот в этой пухлой, — директивы, не имеющие к нам никакого отношения, а в другой, тонкой — относящиеся к нам. Смешно? То-то. А трагедия в том, что нашу бюджетную деятельность перевели на промышленный баланс. И ширпотреб (заготовка метел, хвои, черенков для лопат и т. д.), ширпотреб, который был для нас делом третьестепенным, стал теперь основой нашей деятельности. Лесное хозяйство, таким образом, получает услуги от этой «основной» деятельности. Хотя ширпотреб имеет финансовый план — девятнадцать тысяч рублей, а посадка, посев, охрана, защита и отпуск леса — сто десять тысяч рублей. Но об этом почему-то мало думают. В районе интересуются не тем, как мы сеем и садим леса, а тем, как мы выполняем план заготовки метел. Знаете, как недавно на партийной конференции чехвостили Абатский лесхоз? А за что? За метлу. А об основной деятельности лесхоза — ни слова.

Думайте у нас от этого голова не болит? Болит, да еще как!.. Иной раз хочется бросить все!..

## Где взять землю?

Так я познакомился со Степаном Марковичем.

На следующий день мы собрались с ним в лес. Но поездку сорвал буран. Засулил ветер и началась кутерьма. Дороги вздулись сугробами.

Петров пообещал показать мне лесные рощи в следующий раз и занялся своими делами.

Когда в кабинете появился тучный лесничий из Казанки Михаил Максимович Дацкевич, Петров указал ему на стул:

— Садись, Михаил Максимович. Я тебя искал. Вот что хотел спросить... сколько нынче засеешь?

Дацкевич задумался:

— Гектаров сорок.

— Сорок мало. Сто на твою долю.

Дацкевич покраснел от такого неожиданного предложения, но спокойно ответил:

— А земля? Вся хлебами засеяна. Одни солонцы остались, где ни хлеб, ни кустик не растет. Сеять на солонцах? Нет, я государственные средства убивать не буду. Пусть уж они лучше в кармане у государства останутся, а я — с выговором за невыполнение плана.

Я подумал, что сейчас Петров вспылит. А он серьезно и тихо сказал:

— Я тоже так считаю. Где мы все же возьмем землю?

Казалось бы, что о земле-то в наших краях и говорить не стоит. Ведь ее здесь уйма. А оказывается, в южных районах земли для посевов леса нет и доказать это очень просто. С давних пор лес делили на основной и переходящий фонд. Переходящий — это фонд, который был предназначен для сельскохозяйственного производства, для раскорчевок. Это лучшие земли. Основной фонд — лес, который растет на землях, непригодных для сельскохозяйственного производства, на солонцах.

Когда было создано министерство лесного хозяйства, лесхозы и остались на худших землях с так называемым основным фондом. Они уже почти все засеяны, а хлебородные земли колхозов и совхозов не будешь ведь засеивать лесом. Но главку до этого нет дела. Он ставит задачу: сколько леса вырубается, столько и должно сеяться. Задача, конечно, правильная. Однако местное начальство приказывает сеять только в южных районах, где нет земель, да и сосна-то растет с великим трудом. А на севере земель уйма, да таких, что куда только ни

брось семя — дерево будет. Но там сев не планируется. Специалистов, мол, нет, опыта. Да болота кругом: с техникой не подступишься. А разве нельзя сеять с самолета? Можно. Но в лесхозы южных районов снова и снова спускаются планы лесопосадок, от которых лесничие хватаются за голову.

Вот почему и промолчал Петров, услышав от Дацкевича резонный вопрос: «Где же взять землю»? Он лишь в задумчивости потер лоб и обратился ко мне:

— Слышали? Вот вам еще одна проблема, которую надо решать немедленно. — И усмехнулся, — а вы рожицу с дореволюционным стажем разыскиваете...

Мы вышли на улицу. Степан Маркович шагает медленно. Его большие теплые боты гулко шлепают по тротуару. Ноги с трудом их тащат. А голова поднята гордо, по-молодечки. Смотрит Петров на весеннее солнце, щурится. Смотрит на тополя, как на диво дивное и тоже щурится. На их ветках почки, как новорожденные в пеленках, даже, кажется, что пошевеливаются. Вот-вот распеленаются.

— Весна-а, — почти шепчет от восторга Степан Маркович, — скоро деревья проснутся, каждым листком вздохнут.

Я гляжу на Петрова и невольно вспоминаю все, что слышал о нем, представляю каждый выдержанный им бой за «зеленого друга». Боев этих было много, и о них, пожалуй, стоит рассказать людям с тем, чтобы и они видели в каждой почке начало жизни, прелесть и радость для себя и берегли эту прелесть для потомков.

### Его заботы

Лошадь неторопливо бежала по дороге. С колес ходка нескончаемыми струйками сыпалась пыль и, подхваченная ветром, летела на придорожные кусты и деревья. От этого посетели, поблекли листья.

Умыться бы им дождем. Да дождь-то сейчас не к месту. Сенокос в разгаре. Жара заварила воздух таким крепким настоем свежескошенных трав и первых стогов сена, что грудь, как кузнечные меха, работает. Используешь всю кубатуру легких и даже не замечаешь пыли.

Сосны шумят. Кажется, что они тоже не могут надышаться ароматом приближающейся осени.

Степан Маркович глядит на их покачивающиеся кроны, улыбается. Они, как живые, вздыхают, о чем-то доверительно шепчут ему.

Может быть, они благодарят своего друга за ту любовь, с которой он их растил, за то упорство, с которым он защищал их недавно. Было это в январе. Позвонили из райисполкома, сказали:

— Вас вызывает председатель. Заволновался Степан Маркович и не потому, что вызывали к начальству (он человек не из робких), а потому, что почувствовал — сейчас снова будут пытаться урезать какой-нибудь участок леса. Дело в том, что в последнее время у работников райисполкома вдруг появилась мысль — передать леса гослесфонда колхозам. И председатели некоторых сельхозартелей сразу же решили воспользоваться этим. Исполком принимал решения о передаче государственных лесохозяйств колхозам, а потом уже, формы ради, вызывал директора лесхоза или старшего лесничего и ставил их перед совершившимся фактом...

Петров вошел в кабинет, когда заседание исполкома было уже в разгаре.

Заговорил председатель:

— В исполком поступила просьба о передаче Десятковской лесной дачи колхозу... Мы вот тут посоветовались и решили удовлетворить эту просьбу. Что вы думаете на этот счет?

— Категорически возражаю! Десятковская дача — одна из лучших в лесхозе. Лесистость восемьдесят девять процентов. Нелесных всего пятьдесят три гектара, из них тридцать девять — сенокос.

— Колхоз претендует на эту дачу потому, что у него не хватает собственных сенокосов. А это тормозит развитие животноводства, — объяснил председатель. Петров собрался с мыслями и выложил все, что думал о претензиях колхоза.

— Тридцать девять гектаров не решат проблему с кормами. И зачем же из-за них отдавать всю дачу площадью в четыреста девяносто три гектара. Нет, как хотите, а претензия колхоза ничем не обоснована. Под благородным предлогом руководители колхоза маскируют иную цель. Колхозу нужны деньги. Он их решил получить без всяких затрат и труда, продав полученный государственный лес. А собственный лес для этого не годится — нет поблизости проезжих дорог. Десятковскую дачу можно распределить за пять-десять дней. В колхозе — девятнадцать тысяч гектаров земель. Из них почти шесть с половиной тысяч такие же, как какие они сейчас претендуют. Если уж шесть с половиной тысяч гектаров не могут вывести колхоз из тупика, то тридцать девять — тем более не выведут. Нет, я категорически возражаю.

Председатель властно поглядел на Петрова:

— Нас здесь пять членов исполкома, пять избранных народа, которым доверено управлять районом. И что же ты думаешь, что один умнее нас пятерых, что лучше нас разбираешься в политике и законах Советского государства?!

Расшатались нервы и у Степана Марковича, не сдержал себя, ответил резко:

— В данном случае считаю, что я выражаю интересы государства! Вы поступаете, как временщики, думаете только о сегодняшнем дне. Я хочу сохранить лес людям на будущее.

Стукнул председатель кулаком по столу:

— Примем решение без твоего согласия. И если его утвердят свыше, соберем специальное заседание и примем решение— выгнать тебя из лесхоза за бюрократизм, за антиколхозные настроения. Можешь идти!

Ушел. Разволновался. А ведь могло бы все закончиться тихо, мирно. Стоило только подписать решение исполкома.

Директор лесхоза Михаил Антонович Корчоха, человек покладистый, добрый, не хотел перечить начальству и Степану Марковичу советовал:

— Брось ты, не связывайся. Чего против начальства идти?

Не послушал...

... На спуске с небольшого холма лошадь побежала быстрее. Здесь перед Степаном Марковичем открылась чудесная картина осени. Вдали хороводили деревья: те, что были ближе к нему, убежали вправо, дальше плыли медленней, и от этого казалось, что лес водит хоровод. В желтых сарафанах — березы, в зеленых — сосны, в алых — осины. Красота!

Петров не заметил, как оказался на поляне, которую давно собирался осмотреть. Она заросла высоченной травой.

Спрыгнул с ходка, прошелся, внимательно приглядываясь к траве. И вдруг воскликнул удивленно:

— Вот тебе и списанный участок!

Обрадовался несказанно. Смотрит по сторонам, с кем бы поделиться этой радостью. И слышит: коса где-то поблизости отсчитывает: «Шш-ик, шш-ик». Побежал на ее голос. И видит: лесник Трофим Березин сено косит. Кровь похолодела у Петрова:

— Что ты делаешь?! Сейчас же прекрати! Остолби участок и охраняй! Ты разве не видишь, что в траве сосенки растут?

Трофим Березин крикнул виновато:

— Какой же тут лес? Ведь списан участок.

Действительно, участок был списан как погибший. Четыре года тому назад здесь по методу академика Лысенко была посеяна гнездовым способом роща. Через год пошли проверять— ни одного всхода не нашли. Списали всю площадь.

А теперь... Прекрасный лес растет.

Степан Маркович подвел Березина к молоденькой сосенке, торчащей в траве птичьей трехпалой лапкой.

— Видишь?

— Теперь вижу.

— Следи. Чтобы был полный порядок. Хватит и так беспорядков, которые творятся в колхозных и совхозных лесах!

Планы организации лесных хозяйств колхозов и совхозов давно не давали покоя Петрову. Он был глубоко убежден, что лесостроительство, которое ведется сейчас— это выбрасывание на ветер государственных денег. И в самом деле, планы лесного хозяйства— многотомный труд. Они составляются для каждого нашего колхоза и совхоза ленинградскими, московскими, воронежскими, новосибирскими лесостроительными партиями, то есть приезжими людьми, не знающими экономики и перспектив развития хозяйства. И выходит, что все предписания лесостроителей находятся в противоречии с жизнью. Не лучше ли ликвидировать эти лесостроительные партии, их огромные учреждения, а устройство колхозных и совхозных лесов передать местным лесхозам?

И еще одно. Надо в хозяйствах иметь людей, которые бы ухаживали за лесом, занимались посадкой и т. д. Иначе зачем вообще лесостроительные планы?

— Да-а, — вздохнул Степан Маркович и про себя подумал: — Вопросы такие, что молчать никак нельзя, но их в районе и даже в области не решишь. Как только подвернется удобный случай, обязательно заведу разговор о планах лесостроительства.

И случай такой подвернулся. В Новосибирске открылась конференция работников научного инженерно-технического общества лесной промышленности и лесного хозяйства. Петрова пригласили принять участие в ней.

... Конференция подходила к концу. В одном из залов собрались директора и старшие лесничие лесхозов. Секционное занятие вел заместитель министра лесного хозяйства Пономарев. После занятий спросил:

— У кого есть вопросы, кроме тех, которые мы обсуждали на конференции.

— Разрешите? — Петров встал. И повел разговор о планах устройства колхозных и совхозных лесов, о том, что составление этих планов — разбазаривание государственных средств.

— Нам нужны такие планы для статистики, — прервал Пономарев.

— Но в статистические данные не должны входить пашни и луга. Просто надо при агроустройстве отвести участок для лесного хозяйства. Именно для этого участка и составлять план лесоустройства.

Задумался заместитель министра, записал что-то в блокнот:

— Что ж, вопрос надо обсудить.

... Большинство лесничих и директоров были на стороне Петрова. А некоторые, слушая его возражения большому начальству, всем своим видом давали понять Степану Марковичу: «Садись, ну зачем это? Так делается, значит так надо».

Вопрос, заданный заместителю министра, и возражения этому столь ответственному руководителю были довеском к характеристике задиристого и упрямого человека, которую уже давно дали Степану Марковичу некоторые местные деятели. Поэтому они все серьезные возражения Петрова по каким-либо спорным вопросам воспринимали, как упрямство, с которым меньше всего надо считаться. Но сломить Петрова — дело трудное. На его стороне глубокие знания, опыт. А честь мундира некоторым руководителям не позволяла прислушиваться к его советам. И конфликты обострялись все больше и больше. Недоброжелатели ждали, когда несговорчивый «рыцарь лесов» сломает себе шею.

### Бой за Казачью дачу

Несколько лет назад было принято решение строить лесопильный завод в Казачьей даче. Казалось, против такого дела не пойдешь: колхозы растут, строят новые животноводческие помещения, жилые дома. Колхозам, как говорится, позарез нужен пиломатериал.

Исполком Ишимского райсовета в своем решении записал: «Выделить земельный участок из земель гослесфонда (Таловка) под строительство лесозавода общей площадью 8 га, в том числе под строительство производственных построек — 5 га и 3 га под усадьбы рабочих и служащих. Просить исполком областного Совета депутатов трудящихся утвердить настоящее решение».

И опять на пути встал Петров.

— Товарищи, что вы делаете? — недоумевал он. — Это же гибель дачи! Она в черте зеленой зоны города. Мы заложили там дендрологический парк, посадили сосну, лиственницу, ель, липу, вяз, дуб! На этой даче прекрасно сохранились еще дореволюционные посадки. Там труд многих поколений. Дача и так перенаселена людьми, а если там еще построить дома, она погибнет. Я готов пойти на компромисс — стройте лесозавод, но не селите людей. Хотя и лесозавод — это смерть для дачи. Неужели нельзя найти другое место?!

В исполкоме задумались. Строительные работы пока не начинались. Степан Маркович со дня на день ожидал развязки. Думал, на предстоящей сессии исполкома районного Совета все решится правильно. Но, нет.

На сессии во время перерыва он зашел в комнату отдыха рабочего президиума. И вдруг услышал строгий голос секретаря райкома партии:

— Что вы возитесь с каким-то лесхозом (секретарь обращался к председателю горисполкома) и не можете справиться с ним? Строить надо лесозавод!

Степан Маркович вышел. Решил: «надо готовиться к бою. Кажется, началось».

Через два дня позвонили из горкома:

— Зайдите к секретарю обкома партии.

Пришел. Секретарь поздоровался, спросил:

— Объясните, почему не разрешаете строить завод?

Петров долго и горячо объяснял.

Секретарь спокойно предложил:

— Материал с вашим заключением пошлем на утверждение в министерство. А чтобы не срывать стройку, дайте согласие на начало строительных работ. Только под производственные помещения.

— Я согласен. Но ведь фундамент заложат, затратят на это средства, а из министерства придет запрет.

— Ну, это еще посмотрим.

Степан Маркович понимал, что теперь, когда в борьбе за Казачью дачу наступило временное затишье, когда противники прочно удерживают свои позиции, победа или поражение будут зависеть от ответа из министерства.

В то время когда начались строительные работы на даче, когда был заложен фундамент для производственных помещений, из министерства сельского хозяйства РСФСР пришло сообщение краткое и четкое: «В строительстве лесозавода отказать».

## Дерево не полено с листьями

Лес для построек нужен многим. Лес на корню всем. Он украшает землю, делает многоводными реки, очищает воздух. Не будь лесов и земля наша станет бесплодной и пустынной. Но многие почему-то мало задумываются над этим, не думают о своих детях, внуках и правнуках, вырубая деревья. Они живут только сегодняшним днем и это подло по отношению к потомкам.

Прекрасно сказал об этом один из героев романа Даниила Гранина «Иду на грозу»: «...человечество бездумно вырубает леса, начинается эрозия почвы, остаются бесплодными пашни, и никто не задумывается над пагубными последствиями насилия над природой только лишь потому, что последствия эти не оборачиваются против самих разрушителей, страдают потомки».

Вот что заставило Степана Марковича стать «скупым рыцарем» лесов.

Но одни расценивают это как должное, другие объясняют скупость Петрова просто и обывательски:

— Поня-атно. Не подмажешь, не поедешь.

Так однажды в кабинет к Петрову пришел Белоусов (бывший директор Ишимского леспромхоза), он попереминался с ноги на ногу и пролепетал:

— Степан Маркович... Понимаешь, надо мне... В общем, дай сверх лимита лесосеку нашему леспромхозу, но там, где я выберу...

— И что? — спросил Петров.

— Вот это уже деловой разговор. Три тысячи...

— Мало. Дай сто тысяч. Но как ты думаешь, могу я за сто тысяч опозорить свое имя, семью, партийный билет?

Белоусов поперхнулся на слове, увидев яростное лицо Петрова. А тот разошелся:

— Скажи, почему тебе не стыдно смотреть мне в глаза? Неужели ты совсем потерял совесть? Иди!

С такими, как Белоусов бороться просто — заявил в милицию и делу конец. Труднее с теми, кто претендует на вырубку леса под видом законных оснований. Попробуй возрази им. Сейчас же будешь причислен к самым отъявленным, непробиваемым бюрократам и бессердечным чинушам. А не возразить Степан Маркович не может.

Но решение директора лесхоза — еще не все. Откажет лесхоз в просьбе, люди обращаются в райисполком. А там час-

тенько находятся хорошие дяди, разрешают рубить государственный лес колхозам и совхозам, частным лицам потому, что видят в сосне или березе только строительный материал.

И всякий раз в таких случаях возникают стычки между лесхозом и райисполкомом.

За свою бытность руководителем лесхоза Степан Маркович не помнит такого председателя райисполкома, с которым бы у него не было спора из-за леса. Но каждый такой спор сменялся союзом, который приносил зеленой зоне новых защитников.

А нынче Степану Марковичу не повезло: уж больно крут новый председатель райисполкома. Больше всего на свете не любит, когда ему перечат. С ним-то и произошла у Степана Марковича стычка, после которой никак не наступает союз. Вот как это было:

Пришла к Петрову женщина, объяснила:

— Колхозница я, пенсионерка. В деревне живу. В Новотравном. Изба разваливается. Подремонттировать надо. Продайте лесу.

— А почему вы ко мне пришли? В колхозе просили лес?.. Нет?! А мы отпускаем по нарядам, организованным потребителям. Мелкий торг не ведем. У нас даже кассира нет, — начал объяснять Петров. — Да и потом колхозные руководители ругают нас, когда мы обходим их и даем лес колхозникам. И правильно делают. Мы ведь не знаем людей колхоза, поэтому можем дать лес тому, кому не положено.

А через несколько дней позвонил председатель райисполкома Григоров. Сначала поговорил о передаче колхозам фондового сена, а потом перешел к главному:

— Хочу проконсультироваться по одному вопросу. Какой существует порядок по удовлетворению заявок индивидуальных потребителей на деловой лес?

— Порядок такой, Ефим Васильевич, — у нас неорганизованных потребителей нет. Все они где-нибудь да работают. Туда и должны обращаться. Мы даем лес только в исключительных случаях, когда пенсионер или инвалид потерял связь с производством, где он работал.

— У меня как раз такой случай. Пришла гражданка из колхоза Ленина. Деревня Новотравное...

— Это не тот случай, Ефим Васильевич. Она у меня была. Связь с производством она не потеряла, живет в своем колхозе. Там ей и дадут лес.

— Какой вы бюрократизм развели! Посылаете человека в колхоз, колхоз к нам. Будем решать этот вопрос без вас, — обругал Григоров и положил трубку.

Степан Маркович тут же позвонил ему:

— Мне непонятен ваш тон, Ефим Васильевич. Сначала, наверное, надо во всем разобраться, а потом делать выводы?

— О чем еще разговаривать? — резко спросил Григоров, — Разберемся без вас.

«Разберемся без вас». — Это заявление заставило Степана Марковича задуматься над вопросом, который уже давно волновал его: «А почему у зеленой зоны хозяин райисполком? Она существует для города, а распоряжается райисполком. Именно распоряжается и только тогда, когда ему надо что-то в этой зоне взять. А город кровно заинтересован в том, чтобы свою зеленую зону защитить, сохранить каждое дерево, вырастить новые рощи. Значит, в его ведении и должна быть эта зона».

\* \* \*

Об этом рассказал мне Петров в последнюю нашу встречу. Глядя на деревья, выстроившиеся перед окнами, он с жаром доказывал:

— Душой, душой надо болеть за зеленую зону. Город будет болеть! Потому, что зеленый пояс — это лаборатория здоровья, озонатор и гигиенический фильтр — уловитель вредных газов, копти. Зеленый пояс — это забота о будущем человека.

Потом мы шли с ним по улицам, залитым солнцем. Весна из тысяч пипеток-сосулек капелью лечила продрогшую землю.

— Какая красота скоро наступит! Зазеленеет все, — почти прошептал Петров.

Помолчал. И спросил:

— Разве не стоит драться за такую красоту, а? Я вам недавно говорил, что если бы мне довелось начать жизнь снова, то жил бы иначе. Забудьте это. Я жил бы точно также с конфликтами и стычками. И знаете почему?.. У писателя Леонида Леонова есть замечательные слова: древесная смерть всюду ходит по нашим садам и паркам в облике то козы, то шустро-го дачника с топором, то распоясавшегося браконьера, разрушающего гнезда полезных для леса птиц. Все, чему радуется наш глаз — есть громадная копилка предков; преемственность — основа прогресса, поэтому думы о зелени, думы о будущем. Сейчас пришла пора сказать во всеуслышание и по возможности басом, что дерево не простое полено с листьями, не силомер для разгулявшегося стервеца, и парковый лес не плантация для веников, памятных палочек и прочего хамства.

— Вот так-то, — подытожил Степан Маркович. Поэтому и не живу спокойно.

Л. СЛАВОЛЮБОВА

### КУРЖАК НА БЕРЕЗАХ

Обычно он приходит до обеда, в разгар редакционной спешки. Сядет где-нибудь в уголке и скажет ни к кому, собственно, не обращаясь что-нибудь вроде: «А березы сегодня красивые, куржак их ночью осыпал...»

Непрерывно звонит телефон, из секретариата приносят гранки, которые надо срочно вычитать, не сданы материалы в воскресный номер. Столько дел, столько дел...

«Березы», — думаю я с раздражением. — Только их еще не хватало...»

Посетитель не уходит. Он сверлит меня острым взглядом старческих, мудрых глаз и говорит:

— О полиграфистах, конечно, печатать не будете?

Я вспоминаю неприятный разговор на эту тему с заведующим промышленным отделом редакции. Только вчера он возмущался: «И зачем вы послали нам материал о рабочих типографии? Ведь все равно печатать не будем. Читатели подумают — о себе пишем, нескромно. Для читателей все равно, что типография, что редакция...» Приблизительно это же я говорю и автору статьи о печатниках. Он спокойно меня выслушивает и резюмирует:

— За дураков людей считаете... Ну-ну...

Он встает и уходит, чуть-чуть согнувшись под тяжестью прожитых лет, высокий, седой человек. Можно было бы назвать его пружинистую походку даже стремительной, если б не согнутые плечи в старом осеннем плаще...

Больше сегодня он не придет. Но зато в отделе остались его письма. Учетчица кладет их мне на стол с теплой, чуть виноватой улыбкой:

— Опять Иванов о непорядках пишет...

Опять Иванов пишет... Редко встретишь автора с таким неизвнимым самолюбием. Печатаем мы его письма редко, а он все пишет и пишет. Пишет о том, что на базаре фруктами торгуют спекулянты, что коллективные сады нужно сделать общественными. Пишет о том, что некоторые люди не берегут жактовские квартиры, о том, что с газонов не вывозят снег, а продавщицы грубят покупателям. Пишет о том, что неразумно выбрасывать стеклянную импортную посуду, можно ее собирать и для чего-нибудь использовать. И о том, что последний номер местного литературного альманаха оформлен не очень художественно. Ну какое ему, старому, больному человеку до всего этого дело?..

Но самое большое беспокойство Аркадия Александровича Иванова, бывшего печатника, а сейчас пенсионера, связано с кукурузой. Иванов и его жена выращивают у себя в саду замечательные кукурузные початки. Давнишняя и совершенно непонятная, необъяснимая со всех точек зрения страсть! Он приносил их в редакцию. Зерно, действительно, крупное, желтое, початки сантиметров 40 в длину. Ивановы хотят, чтобы такую же кукурузу получали в колхозах и совхозах. Но это желание кажется кое-кому из руководителей сельского хозяйства области наивным, потому что одно дело вырастить четырехметровую кукурузу в саду, другое дело — в поле.

И вот уже несколько лет Иванов пишет всюду о своей кукурузе, доказывает — выведен новый сорт, ну попробуйте, посейте его на полях. Возьмите наше зерно и посейте. Агрономы с сомнением качают головами и говорят: «вот чудака-человек, да нет там никакого сорта». «Ну ладно, — сдается Иванов, — пусть нет сорта, но все-таки посейте, зерно-то замечательное. Лишь бы урожаем был...» Уговорил, посеяли. И, конечно, спор кончился не в пользу старого чудака. Не выросла ивановская кукуруза на опытной станции. Иванов, правда, рассказывал потом, что ту несчастную кукурузу вовсе и не обрабатывали, а осенью — заморозили...

Как-то пришел он к нам радостный — новую квартиру дали! Вот, думаем, хорошо, теперь поспокойней человек станет. Однако уже через неделю приносит письмо, а в нем: «Дорогая редакция, заинтересовались бы вы таким вопросом: почему начальство личных гаражей во дворе понастроило, ребятишкам играть негде... И еще — дорогие товарищи, — да это же безобразие, — дали квартиры семьям, у которых были свои дома. Теперь они эти дома продают...

А месяца за два до этого написал: «Давайте превратим Тюмень в город — сад. Пусть будет улица Сирени, улица Акаций..»

Мне всегда как-то неловко на душе после встречи с ним. Словно на совесть капнет что-то холодное. Как-то полгода назад догоняет он меня в коридоре редакции и говорит сердито:

— А вы знаете, уважаемая, что Ваша героиня серьезно больна?

— Какая еще «героиня»? — удивляюсь я.

— Ну какая? О которой Вы писали. Доярочка с опытной станции. Помните, как расхваливали — улыбочка, солнце, звезды...

— Ну так что же? — я начинаю сердиться. Какое, собственно говоря, вам дело до этого.

— А, понимаю, понимаю, — теперь Иванов лишь ехидно улыбается. — Ваше дело — написать, а что потом, вас не касается... Вот так-то, уважаемая...

Он поворачивается и уходит, стуча на весь коридор тяжелыми сапогами. Походка у него сейчас тяжелая, медленная...

Я еще стою несколько минут, потом бегом его догоняю:

— Аркадий Александрович, да что с ней случилось?

— Не знаю, не знаю, уважаемая. Говорят, условия на ферме были тяжелыми, по колену в воде приходилось работать... Может простудилась, а? А может и с начальством поругалась... Да вам-то что?

— А Вам? — хочется крикнуть этому беспокойному, и как мне кажется в эту минуту — недоброму человеку. Но он уходит, уходит не оглядываясь. Его совершенно не интересуют мои чувства и дальнейшие намерения. А я иду срочно просить у редактора машину.

Или вот вчера, в разгар нашей редакционной спешки пришел и спрашивает:

— Письма мои еще не читали?

— Нет, — говорю, — очень некогда, Аркадий Александрович, к новому году готовимся.

— Ну да, — улыбается он, — конечно, вам некогда. Вам всегда некогда, я же понимаю. Только я в тех письмах о людях писал.

И все. Больше ни одного упрека. Но едва он вышел, я бросила все дела и села за ивановские письма.

Читаю и злюсь. Снова о фруктах. Ну сколько можно долбить в одно и то же место? Не растут пока в Сибири фрукты, хоть каждый день печатай в газете письма с призывом разво-

дить сады... Что еще? «Очень тяжелые условия работы в артели такой-то». И до артели добрался. Отправим это письмо на расследование, послать в артель совершенно некого.

Я откладываю письма и думаю снова — ну чего этому человеку не живется покойно? Думаю, и мне становится опять не по себе. А в артель все-таки надо сходить, — решаю я. Выбрать время и сходить. Если пошлем на расследование — волокита может долго протянуться. Потом мысль перескакивает на фрукты, на полиграфистов, о которых мы не пишем из боязни, что нас не поймут читатели, на кукурузу, которую, вероятно, можно вырастить не только на опытном маленьком участке, в саду, но и на бескрайних полях...

Поздно вечером, на автобусной остановке, я смотрю на зимние березы и вспоминаю ивановские слова: «А березы сегодня красивые, куржак их ночью осыпал...» Черт возьми, а ведь старик прав. Березы на самом деле прекрасны. В белом кружеве инея, с нависшими плакучими ветками, они сверкают в переливах ночных огней, как драгоценное зимнее убранство улицы... И почему мы в спешке будней не замечаем их сказочной, тонкой красоты?

### НЕКАЗИСТЫЙ ЦВЕТОК ПОДСНЕЖНИК

Не знаю, что вам и рассказать. Биография у меня маленькая, неинтересная. Видели, наверное, в коридоре листовка висит, еще с выборов осталась: в двадцать седьмом родилась, в сорок восьмом окончила институт. С тех пор все здесь, в совхозе.

О чем же вам рассказать? Что-нибудь интересное? Да со мной, наверное, такого и не случилось. Разве только смешное... Знаете, в первые годы, как приехала в Раздолье, все верхом ездила. А пашни у нас тогда всего пятьсот гектаров было. Зато воды и болот сколько угодно. Ездишь день-деньской на лошади, где вплавь, где как придется, и думаешь: «Ну зачем такому мокрому совхозу агроном? Мелиоратора бы сюда». Смешно вспомнить...

Сейчас тех болот уже не найдешь. Осушили, распахали больше шести тысяч гектаров. А люди нет-нет, да и скажут: «Помните, мол, Калиста Максимова, как из болота вашу лошадь вытаскивали?..» Да еще улыбнется — я тогда полной была, и не очень-то изящно выглядела верхом на лошади. А еще, если свалишься в какую-нибудь трясику, вовсе не до изящества. Так что «приближение к земле» после институтской скамьи шло и в переносном и в буквальном смысле этого слова.

Но это все давно было. Сейчас в тех местах кукуруза растет. Да, впрочем, чего тут интересного. Давайте я лучше расскажу вам, как совхоз к весне готовится. Вывезли на поля много удобрений, задержали снег на всей площади посевов... Дать вам сводку? Пожалуйста. Я-то и без нее все помню. Куда же она задевалась?.. Веду сейчас курсы механизаторов, экзамены принимаем. Столько волнений из-за этих ребят. Весна на носу, на машины сядут, а некоторые еще неуверенно себя чувствуют. И я так с ними закрутилась, что, чувствую, другие дела упускаю. Вот сводку куда-то затолкала...

— Валя, Валечка, ты сводку последнюю не брала? У тебя? Ага, ну все в порядке. Дай-ка сюда. Спасибо. Обратите внимание на снегозадержание... — Вы знаете, чудной наш район. Болот и озер много, а засухи частые. Сверху воды не хватает. Вот в прошлом году очень засушливое лето выдалось. Кукурузу посеяли много, а почти весь июнь без дождинки простоял. Я это к тому, что задержать влагу в земле для нас очень важно. И странно, взрослые неглупые люди иногда этого не понимают. Я про наших бригадиров. Ведь до скандала иногда дело доходит. Вот только перед вами сегодня крупно с одним управляющим поговорили. Не дает трактор на снегозадержание и только. Успеется, мол. Не слушается человек по-доброму, тогда я ему как главный агроном приказываю. Пообещал. А приезжаю сегодня на отделение — стоит машина преспокойненько возле кузницы. Исправная. Тракторист есть. Ну, тут я не выдержала. «Хозяева, говорю, разве так поступают? Умные, заботливые хозяева разве так поступают?..» Он, небось, вам сегодня жаловался. Не жаловался? Ну, значит, понял человек.

Но я, кажется, отвлекаюсь. Мы говорили о подготовке к весне. Закончили ремонт всего тракторного парка и сельхозмашин. Кукурузные звенья в совхозе постоянные. Нынче только в них вольются ребята с курсов. Кукурузы сеять будем много — три тысячи пятьсот гектаров, взяла обязательство собрать круговую по триста. Подготовили семена. Разделили по фракциям «саратовскую-29». Прекрасная, знаете, пшеница, сильная...

Я не о том, да? Надо что-нибудь интересное? Да, честное слово, у меня... Ой, простите, телефон звонит.

— Вьялково? Да, Копейкина слушает. Как это остановить ремонт? Послушайте, Геннадий Леонтьевич, это же нечестно. Было у вас трудно, отдали из Бердюгино кузнеца, а сейчас вернуть надо. Что? Обойдуся? Нет. Геннадий Леонтьевич давайте будем не только о своей рубашке заботиться... На коммунистов, знаете ли, эта поговорка не распространяется, устарела...

Придется отдать, дорогой. Придется отдать!.. Кстати, как там со школой? Все так же холодно? В пальто сидят... Да, знаю, знаю, что новую строить надо. Все пороги в районе обила. Теперь, правда, возможностей больше — буду в Тюмени хлопотать. Как депутат областного Совета... А отопление вы постарайтесь сегодня же наладить. До свидания.

Управляющий Вялковской фермой Дульцев звонил. Беда у них со школой. Не можете ли вы как-нибудь через газету помочь? Две крупные деревни рядом, ребятишек много, а под школу приспособлен совсем неподходящий дом. Старый, холодный, его только на свал. Я еще в прошлом году, когда депутатом райсовета была, хотела добиться строительства новой школы во Вялково. И ничего не вышло. Понимаете, словно камень у меня на сердце из-за этой школы. Люди обращаются — ты мол, депутат, слуга народа, давай выручай. А нам не планируют и все тут. Нынче опять в список строительства не включили.

Рассказать о депутатской деятельности? Не нравится мне это слово — деятельность. Словно по какой-то инструкции. Живые люди рядом — вот в чем дело. Приезжаю я как-то в Кизак (отделение наше). Жена заместителя управляющего Екименко плачет горькими слезами: семнадцать лет с мужем прожили, а сейчас бросил жену и сына, ушел к какой-то Дусе. И думаете любовь новая у этого Екименко появилась? Ничего подобного. Водка да распущенность. Пришлось мне вмешаться в это дело. Потому как все равно, думаю, пропадет Екименко у этой Дусы.

Всякие, конечно, семьи бывают. Иногда и разойтись разумней, чем жить под одной крышей двум чужим людям. Но с Екименко совсем другое было — слабость к спиртному. И знаете, сейчас вернулся в семью, не пьет.

Когда спрашиваете, я все это успеваю? Не успеваю. Честно скажу вам — не успеваю. Глядишь — сутки проскочили, а дел еще по горло осталось. У меня ведь семья. Муж и трое детей. Младшая в первый класс ходит. Зимой я еще как-то управляюсь с домашним хозяйством, а уж на весну и лето отправляю детей к бабушке.

Так я и не рассказала вам ничего интересного. Сев у нас скоро, горячая пора. На высоких увалах снег уже стаял, еще каких-нибудь дней десяток и подснежники расцветут. Знаете, такой вроде неказистый, несимпатичный цветок, этот подснежник, летом его бы и не заметил, а сейчас милее нету — первый привет весны. Я как увижу их, ну, думаю, начинаются горячие деньки...

Приезжайте к нам весной. Может быть, тогда что-нибудь интересное случится. Посмотрите, как люди наши работают, как на рассвете земля дышит. А за сегодня простите. Биография у меня совсем короткая, ничего интересного в жизни не случилось. Писать совсем не о чем. Приезжайте-ка лучше весной...



Так рассказала о себе Калиста Максимовна Копейкина, главный агроном Раздольского совхоза, невысокого роста, скромная, худенькая женщина. Я слушала ее и думала о неказистых желтых цветах — подснежниках. Едва апрельское солнце растопит осевшие сугробы и в лесу зазвенят первые ручьи, миру является подснежник — желтоватый, некрупный цветок на тонкой белой ножке. Ни запаха у него, ни ярких броских красок. Лишь строгая и чистая красота ранней весны..



## СО Д Е Р Ж А Н И Е:

|  |     |
|--|-----|
| К. Лагунов. О земле и людях . . . . .  | 3   |
| Е. Шерман. Под стальным парусом . . . . .                                      | 29  |
| И. Ермаков. У абатских друзей . . . . .  | 48  |
| Ю. Шесталов. Ай-Теранги . . . . .  | 67  |
| ✓ В. Фалей. Жаркая тундра . . . . .  | 73  |
| Ф. Кузьмин. Добытое счастье . . . . .  | 86  |
| В. Чуванов. Глубокая разведка . . . . .  | 94  |
| А. Черняев. Рыцарь лесов . . . . .   | 112 |
| Л. Славолобова. Куржак на березах. Неказистый цветок под-<br>снежник . . . . . | 125 |

Золотая россыпь

Редактор *С. Л. Наймарк*

Техн. редактор *Л. Т. Овечкин*

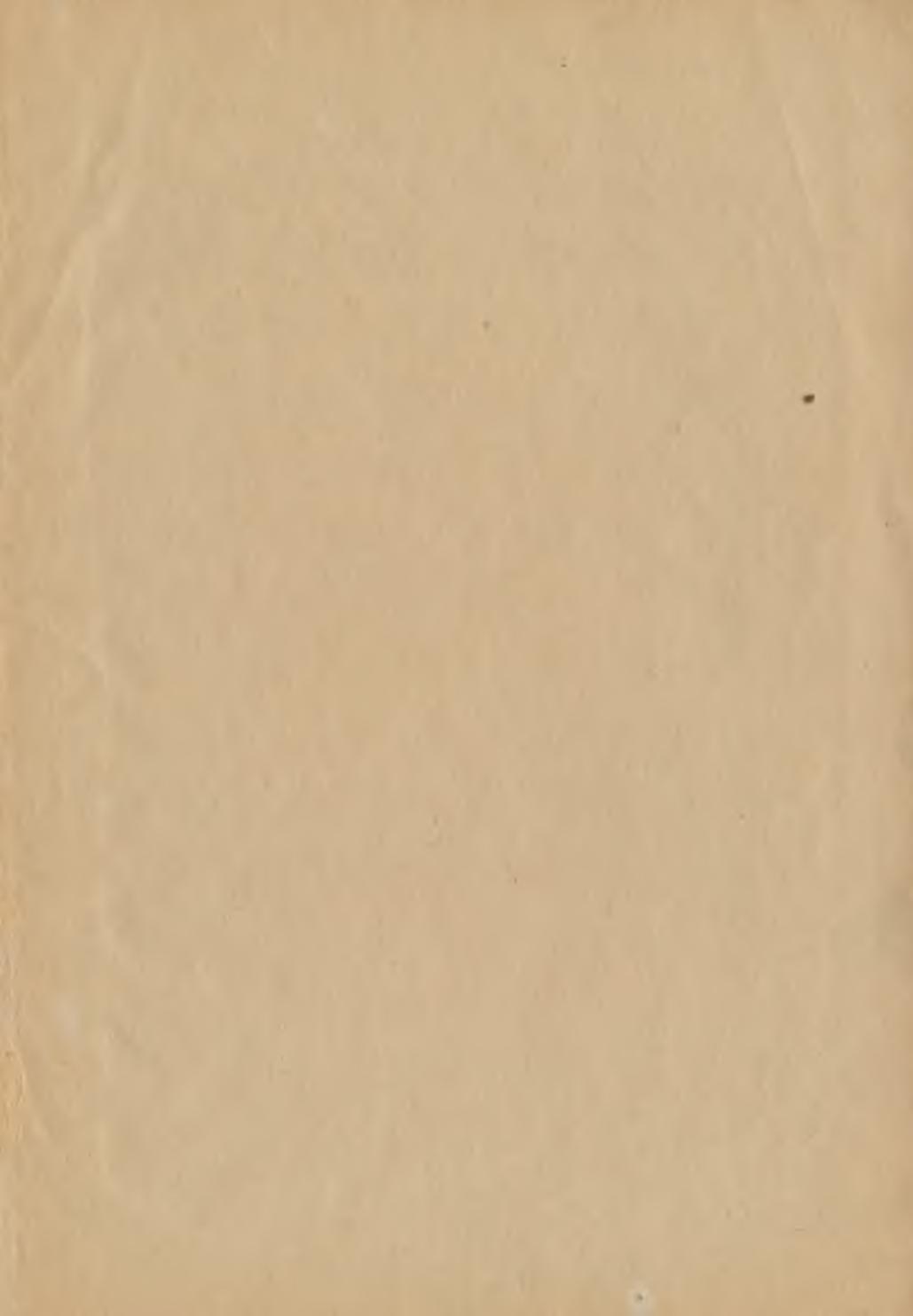
Корректор *Р. Л. Чернякова*

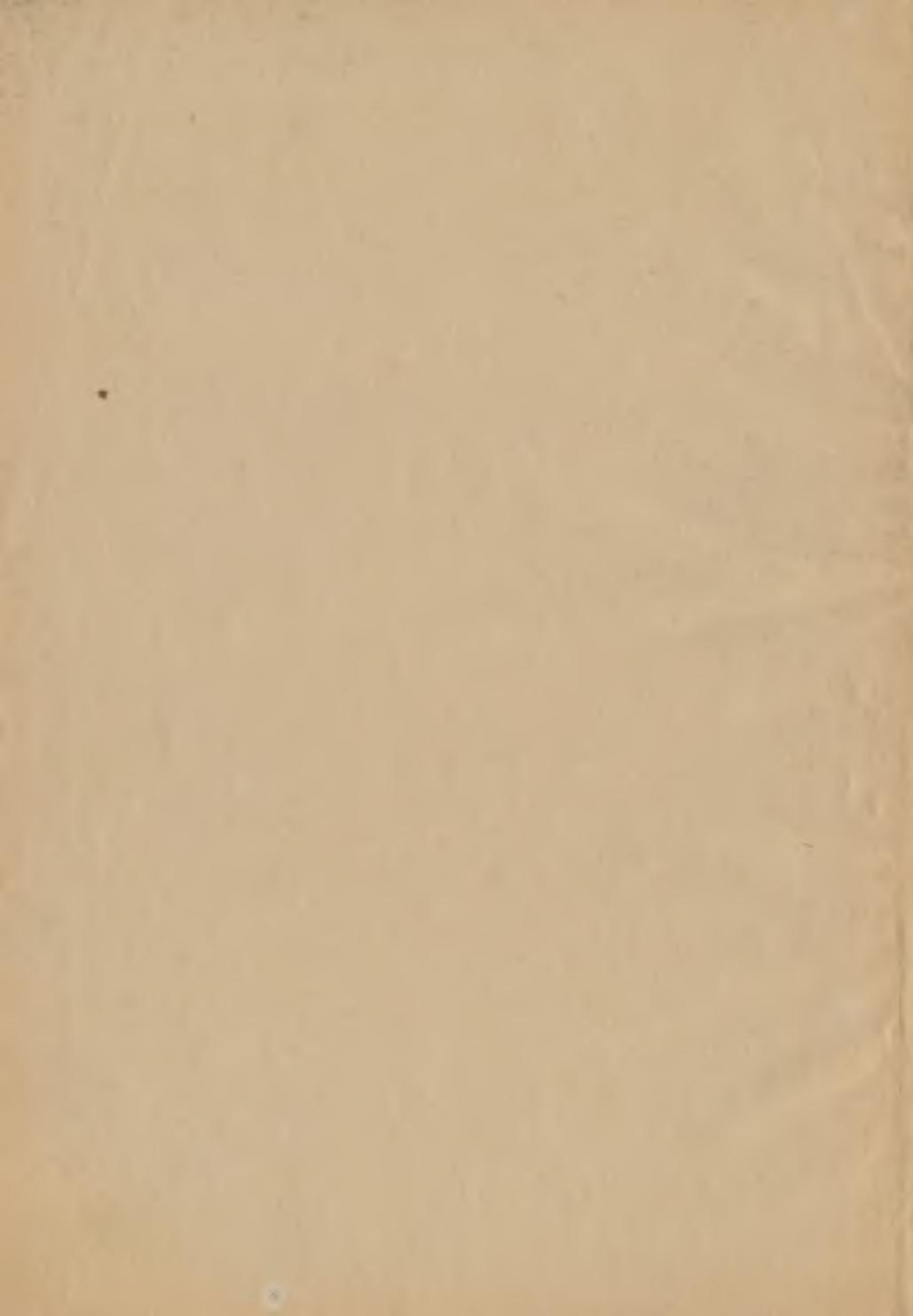
Бумага 65×90<sup>1/16</sup>  
РД 07036

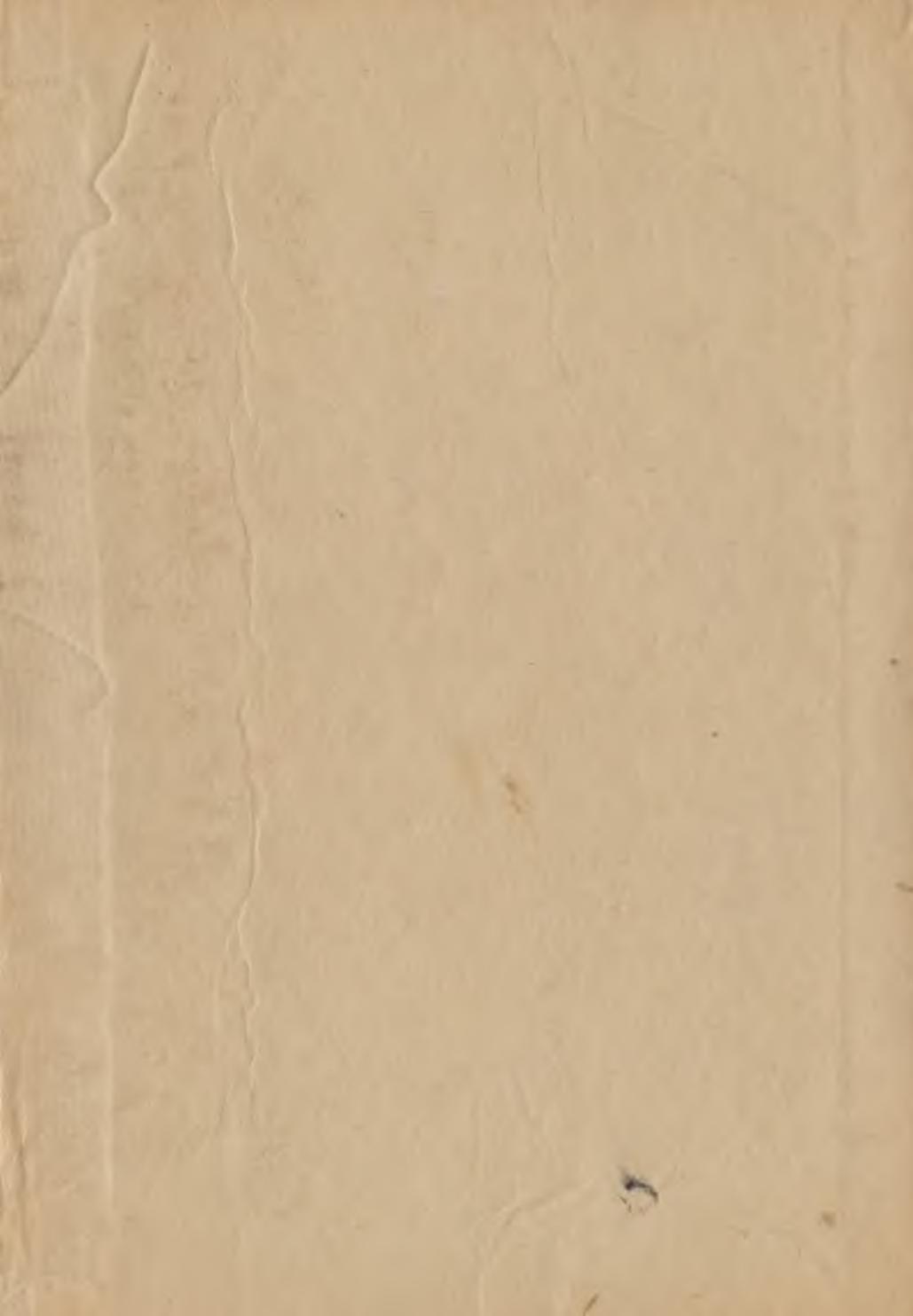
Объем 8,25 п. л.      Изд. л. 8  
Подписано к печати 26/XI-63 г.

Заказ 2350  
Тираж 5000

Свердловская типография № 1 Облполиграфиздата. Свердловск Дом промышленности







Цена 39 коп.